

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

The background of the cover is a textured, reddish-brown illustration. On the left, a donkey is depicted in profile, facing left. To its right, a figure stands, possibly a man, wearing a wide-brimmed hat and a long coat. The overall style is reminiscent of a woodcut or a heavily textured painting. The text is overlaid on this background.

Хуан Рульфо
Педро Парамо.
Равнина в огне

[classica]

CoRpus

Annotation

Роман мексиканского писателя Хуана Рульфо (1918–1986) «Педро Парамо» увидел свет в 1955 году. Его герой отправляется на поиски отца в деревню под названием Комала — и попадает в царство мертвых, откуда нет возврата. Чуть раньше, в 1953-м, был напечатан сборник «Равнина в огне», состоящий из пятнадцати рассказов и как бы предваряющий роман. Вместе получилась не слишком большая книжка — однако ее автор не только безоговорочно признан крупнейшим латиноамериканским прозаиком, но

и не раз назывался в числе авторов, сильнее всего повлиявших на прозу XX века. И в таких оценках нет преувеличения. Габриэль Гарсиа Маркес откровенно писал, что учился именно у Рульфо: «...не один раз перечитав его произведения, я наконец-то нашел тот путь, который так долго искал, — и тогда смог продолжить работу над собственными книгами». Позднее он сказал: «„Педро Парамо“ — это самый прекрасный из всех романов, какие когда-либо были написаны на испанском языке».

- [Хуан Рульфо](#)

- notes
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
-

Хуан Рульфо

Педро Парамо

(роман)

В Комáлу я отправился, когда узнал, что там живет мой отец, некий Педро Парамо. Сказала мне про это мать. И я обещал ей, что после ее смерти тотчас пущусь в дорогу и разыщу его. Я сжал ее руки, подтверждая нерушимость данного мною слова. Она умирала, и я готов был обещать ей все, что угодно. «Смотри же, непременно повидай его, — наказывала она мне. — Запомни хорошенько: его имя —

Педро, а фамилия — Парамо. Я уверена, он будет тебе рад». И я повторил, что сделаю все, как она велит, — разве мог я в ту минуту поступить иначе? Снова и снова заверял я, что исполню ее последнюю волю. И я все еще продолжал твердить это, когда с усилием высвобождал пальцы из ее мертвых рук.

Незадолго до конца она мне сказала:

— Не проси у него. Требуй. Требуй то, что принадлежит нам по праву. Пусть отдаст тебе то, что обязан был отдать мне и не отдал... Он ни разу про нас с тобой не вспомнил, сынок. Пусть же он дорого

тебе за это заплатит.

— Я все сделаю, как ты говоришь, мама.

Это были только слова, я не собирался выполнять их. Но потом, после смерти матери, сам не знаю отчего, на меня вдруг нахлынули непривычные мысли: я начал воображать себе бог весть что, мечтать, жил в каком-то выдуманном мире. Мир этот родился из надежды, а надеждою был Педро Парамо, муж моей матери. И тогда я отправился в Комалу.

Стояли знойные августовские дни, раскаленный ветер дышал гнилостным зловонием мыльных

деревьев.

Дорога вела то вверх, то вниз. «Оттуда дорога идет в гору, туда — под гору. Уезжаешь из дому — взбираешься на кручу. Едешь домой — спускаешься в долину».

— Как, говорите вы, зовется это селение? Вон там, в долине?

— Комала, сеньор.

— А вы не ошибаетесь? Неужели это уже Комала?

— Да, сеньор, это Комала.

— А почему у нее такой заброшенный вид?

— Худые времена, сеньор.

Моему воображению места эти рисовались совсем иными — ведь я видел их глазами матери, глазами ее

тоски, за дымкою ее вздохов. Она всю жизнь вздыхала о Комале и мечтала туда вернуться, но так и не вернулась. Вместо нее теперь возвращаюсь я. На все здешнее я смотрю ее глазами, потому что она дала мне свои глаза и велела смотреть ими. «За мостом Колимотес, — говорила она, — пойдут бескрайние зеленые поля попеременно с желтыми полосами спелого майса. Это так красиво. А вдаль, среди зеленого и желтого, белеется Комала. Ночью она вся переливается и мерцает огнями». И голос матери падал до шепота, словно она поверяла самую сокровенную свою тайну или

говорила сама с собой... Мама.

— А у вас, простите за любопытство, какие-нибудь дела в Комале? — услышал я обращенный ко мне вопрос.

— Отца хочу повидать, — ответил я.

— А! — протянул мой спутник. И мы опять замолчали.

Мы спускались по косогору. Ослики трусили, звонко цокая копытами по камням. Веки сонно слипались, тяжелея от августовской жары.

— То-то он вам обрадуется, ваш отец, — услышал я вновь голос человека, шагавшего рядом со мной. — Пир задаст в честь вашего

приезда. А то сюда сколько уж лет никто носа не кажет. Да хоть бы и не сын вы ему, — добавил мой спутник чуть погодя, — все равно он будет доволен.

Долина лежала внизу, подернутая солнечным маревом, как прозрачное озеро — пеленой жемчужного пара; едва угадываемая, сквозь дымку темнела полоса горизонта. Над нею зыбился в воздухе неровный контур горной гряды. А там, за горной грядою, сияла даль, распахнутая в беспредельность.

— А каков он из себя, ваш отец, если не секрет?

— Я его никогда не видал, —

ответил я. — Знаю только, что его зовут Педро Парамо.

— А! Так-так. Ясно.

— Мне сказали, его зовут Педро Парамо.

— А-а! — неопределенно протянул погонщик осликов.

Я повстречал его на перекрестке дорог, в Лос-Энкуэнтрос, где поджидал попутчика в сторону Комалы.

— Вы куда? — осведомился я у погонщика.

— В долину, сеньор.

— Знаете вы такое местечко — Комала?

— Мне как раз туда и надо.

Я двинулся следом за ним. Я

шел сзади, стараясь приноровиться к его размашистому шагу, и не поспевал. Потом, будто только сейчас заметив, что я почти бегу, он пошел тише. Мы зашагали рядом, нога в ногу, почти плечом к плечу.

— Я тоже сын Педро Парамо, — сообщил он мне. В пустынном небе над нашими головами пролетела с громким карканьем стая воронья.

Мы преодолели гряду холмов и начали спуск в долину. Знойный воздух остался наверху, у нас за спиной, а мы с каждым шагом все глубже погружались в раскаленный зной, раскаленный сам по себе, уже без капли воздуха. Все вокруг было сковано оцепенением, будто ожидало

чего-то.

— Жарко же у вас тут, — заметил я.

— Разве это жарко, — возразил мой спутник. — Вот погодите, спустимся в Комалу, то ли еще будет. Там жара так уж жара, точно в самое нутро земли угодил, в самое пекло. Из Комалы, если кого после смерти в преисподнюю угораздит, так он, скажу вам, назад за одеялом прибежит, холодно покажется.

— Стало быть, вы знаете Педро Парамо? — спросил я его.

Я бы не осмелился задать этот вопрос, но в глазах попутчика мне почудилась искорка сочувствия.

— Что он за человек? —

уточнил я.

— Хуже бешеной собаки, — ответил погонщик.

И он безо всякой видимой нужды вытянул осликов кнутом, хоть они уже и так бежали впереди нас, подгоняемые уклоном дороги.

А я вдруг почувствовал, как горячая волна обдала мне грудь в том месте, где лежал спрятанный в кармане моей рубашки портрет матери, — словно и она, подобно мне, обливалась потом от этой нестерпимой жары. Фотография была давняя, ветхая, с обломанными уголками, с надрывами по краям. Но никакого снимка, кроме этого, от матери не осталось. Я нашел его в

шкафу на кухне, в ящике с душистыми сухими травами: среди пучочков мяты, цветов акации, веточек руты, — и с тех пор ношу с собой. Ведь другого у меня нет. Мать не любила фотографироваться. Она говорила, что через портрет можно наколдовать человеку и дурное и хорошее. И верно, фотография была вся в крохотных дырочках, словно ее кололи иголкой, а на груди, где сердце, зияла большая дыра, в которую свободно мог бы пройти средний палец. Эту-то фотокарточку я и взял с собой, чтобы показать отцу, — тогда он меня признает.

— Поглядите, — сказал погонщик и остановился. — Видите

тот круглый бугор? За ним начинаются земли Медиа-Луны. А теперь повернитесь сюда. Там вот, позади, высунулся холм, длинный такой гребень. Видите? А теперь — сюда. Вон далеко-далеко — отсюда и не различишь — тянется еще один холм. Все это — имение Медиа-Луна. Вся земля здесь, — насколько глаз хватает, — подлинно его, Педро Парамо. А мы, хоть и его дети, да, видно, родились в недобрый час, и рожали нас матери в нищих халупах, на соломенных циновках. И смешней всего, что он же еще был нашим крестным отцом. Он и с вами, надо думать, обошелся не лучше?

— Откуда ж мне помнить.

— Вот как. Ну и хрен с тобой.

— Что вы сказали?

— Я говорю, скоро на месте будем.

— Вижу, вижу. А это что такое?

— Птичка побегунчик, сеньор. Это, конечно, если по-здешнему называть.

— Я не про то. Я про селение. Смотрите, оно совсем пустое, будто вымерло. Тут, похоже, и не живет никто.

— Почему «похоже»? Тут и в самом деле никто не живет.

— А Педро Парамо?

— Педро Парамо умер много лет назад.

Был тот вечерний час, когда в селениях дети выбегают играть на улицы, наполняя звонкоголосым гомоном тускнеющий воздух, а черные стены озарены оранжевыми отблесками заката.

Так, по крайней мере, было вчера вечером в Сайуле. Там же, в Сайуле, видел я и голубей; они проносились высоко над моей головой, быстро взмахивая крыльями, словно стряхивали с себя уходящий день. Они взмывали вверх и камнем падали на крыши, а им вдогонку, окунаясь в густеющую синеву неба, летели крики детей.

Но в селении, где я был сейчас, царило безмолвие. Мои шаги громко

отдавались на булыжной мостовой. И стены, пунцовые от заходящего солнца, откликались на эти гулкие шаги пустынным эхом.

Я шел по главной улице местечка. Необитаемые дома, дверные проемы без дверей, поросшие травой пороги. Как она называется, эта трава? Погонщик говорил мне. Ах да, «разор-трава, так мы ее тут называем. Только и ждет, лиходейка, чтобы дом опустел, — сразу изо всех щелей начинает лезть. Сами увидите, в Комале ею все дома заросли».

Проходя перекресток, я заметил мелькнувшую чуть поодаль женскую фигуру, закутанную в черную шаль,

но женщина тотчас исчезла, будто растаяла в воздухе. На мгновение я остановился, потом зашагал дальше. Я снова шел по улице, заглядывая в зияющие проемы дверей. Неожиданно носом к носу я столкнулся с женщиной в шали.

— Добрый вечер, сеньор! — приветствовала она меня, проходя мимо.

Я обернулся и крикнул ей вслед:

— Где живет донья Эдувихес?

— Там, — показала она пальцем. — В доме возле моста.

Ничего особенного я в женщине не заметил. Обыкновенный человеческий голос. Во рту — зубы, а за ними — быстрый язык. Я видел,

как он шевелится, когда она говорит. И глаза точно такие, как у всех других людей на земле.

Сумерки густели.

Уходя, она снова пожелала мне доброго вечера. И хотя по-прежнему нигде не было видно ни играющих детей, ни голубей, ни синих кровель, я вдруг почувствовал, что в селении кипит жизнь. А если мне чудилось вокруг одно лишь безмолвие, то только потому, что я еще к безмолвию не привык, или, может быть, потому, что в ушах у меня звучало множество разнообразных шумов и голосов.

Да, человеческих голосов. Здесь, где почти не было воздуха и нечем

было дышать, они слышались много
явственней. Я носил их в себе, и они
были тяжки, словно камни. Мне
вспомнились слова матери: «Там ты
снова услышишь и лучше поймешь
меня. Я буду ближе к тебе. Голос
моих воспоминаний проникнет в
тебя и вытеснит голос моей смерти,
если только у смерти есть голос».
Мама... Живая.

Мне хотелось сказать ей: «Ты
дала мне неверный адрес. Ты
ошиблась и послала меня не по той
дороге. Ты сказала: „Иди туда-то и
туда-то“. И я пустился в путь,
разыскивая селение, затерянное на
краю света, и человека, которого
давным-давно нет в живых».

Я пошел на шум реки и увидел дом возле моста. Я протянул руку, чтобы открыть дверь, но рука нырнула в пустоту, как будто это она, пустота, распахнула передо мной дверь. За порогом стояла женщина.

— Войдите, — произнесла она.

И я вошел.

Я остался в Комале. А погонщик отправился со своими осликами дальше.

— Мой путь лежит туда, к тем высоким горам, — сказал он на прощанье, — там мой дом. Хотите, идемте со мной, гостем будете. Хотите — оставайтесь. Осмотрите селение, раз уж вам так любопытно,

а может, невзначай кого-нибудь тут живого отыщете.

И я остался. Для того я сюда и пришел.

— А где здесь можно устроиться с ночлегом? — крикнул я ему вдогонку.

— Разыщите донью Эдувихес, если она еще жива. Скажите ей, что вы от меня.

— А как вас зовут?

— Абундио, — отозвался он. Но фамилии я уже не расслышал.

— Эдувихес Дийяда — это я. Проходите, пожалуйста. — Как будто она меня поджидала. Объясняя мне по дороге, что все уже приготовлено, она повела меня по длинной

анфиладе темных и, как мне показалось, совершенно пустых комнат. Впрочем, нет. Когда глаза привыкли к темноте, я в тонкой полоске света, падавшей все время откуда-то у нас из-за спины, начал различать по сторонам какие-то черные тени: мы шли по тесному проходу между громоздившихся вдоль нашего пути непонятных выступов.

— Что это у вас тут такое? — полюбопытствовал я.

— Рухлядь всякая, — ответила она. — У меня весь дом заставлен вещами. Уезжали люди, а мебель и пожитки ко мне свозили на сохранение. Только никто за ними так и не вернулся. Я отвела вам

комнату внутри дома. Там я посторонних вещей не держу — на случай, придет кто-нибудь. Так, стало быть, вы ее сын?

— Чей сын? — спросил я. — Кого вы имеете в виду?

— Долорес.

— Да. А как вы узнали?

— Она предупредила меня, чтобы я вас ждала. Как раз сегодня. Что вы будете непременно сегодня.

— Кто предупредил? Моя мать?

— Ну да. А то кто же?

Я не знал, что и подумать. Но она и не дала мне времени подумать.

— Вот здесь, — проговорила она.

Дверь в комнате была только

одна: та, через которую мы вошли. Хозяйка зажгла свечу, и я увидел, что в помещении не было совершенно никакой мебели.

— Но ведь здесь нет кровати, — удивился я.

— Что за важность. Вы устали с дороги, а когда устанешь, сон лучше всякого пуховика. Постель я вам приготовлю завтра. Сами знаете, в два счета ничего на свете не делается. Извести вы меня заранее, я бы, конечно, вас получше встретила, но мама ваша предупредила меня в самую последнюю минуту.

— Мама? — остолбенел я. — Мама умерла.

— Оттого-то, наверно, и был у

нее такой слабый голос. Еле слышался, будто из дали какой-то далекой-далекой, невесть откуда. Теперь-то понятно. И давно?

— Вот уже семь дней.

— Ах ты, горе какое. В последний час, верно, думала, все-то меня забыли, одна помираю. Мы ведь с ней слово друг дружке дали: вместе умрем. Вместе-то помирать легче, не так страшно с белым светом расставаться. Мы это на всякий случай решили: мало ли что в жизни приключиться может, ну станет невмоготу, вот и... Мы ведь подруги с ней были, да еще какие — не разлей вода. Неужто она вам никогда про меня не рассказывала?

— Нет, ни разу.

— Странно. Ну да что ж, мы тогда совсем еще были девчонки. Она только-только замуж вышла. Но очень мы с ней любили друг дружку. Мама твоя хорошенькая была, нежная, как цветок, а уж душевная! На нее, бывало, кто ни взглянет, сразу полюбит. Верно говорю, так и тянет, бывало, смотреть на нее... Выходит, обогнала она меня? Ничего, я ее догоню, вот увидишь. На небо путь неблизкий, и сколько туда пути — это лишь одна я знаю. И как туда прямиком дойти, чтобы зря крюку не дать. Первое дело — помирать, с Божьей помощью, надо не по Господню изволению, а по

собственному разумению. И если тебе до срока занудобилось, сумеи заставить Господа, чтобы раньше времени тебя призвал. Гляди-ка, на «ты» перешла. Прости уж старуху, ты ведь мне все равно как сын родной. Да, да. Сколько раз я себе говорила: «По справедливости-то сынок Долорес моим бы должен быть». Ладно, про это я в другой раз тебе расскажу. А ты мне верь, я твою мать одну не брошу — длинны дороги в царство небесное, но я ее догоню.

Первой моей мыслью было, что хозяйка не в своем уме. Потом никаких мыслей у меня уже не было, осталось лишь ощущение, будто я очутился в мире каких-то иных

измерений. Словно сорванный с якоря челн, я безвольно отдался уносившему меня потоку. Тело мое расслабилось, стало податливо, способно принимать любую форму, его можно было швырять и подбрасывать, играть им, как тряпичным мячом.

— Я хотел бы отдохнуть, — сказал я.

— Пойдем. С дороги надо перекусить. Поешь хоть немного.

— После. Я приду после.

«Кап, кап», — бормотала дождевая вода, падая с крыши. Во дворе под стрехами она вырыла в песке длинную канавку. «Кап,

кап», — и чуть погодя опять: «Кап!», — со всего размаха, по листу лавра, росшего из щели между кирпичами. В самую середину листа. Лист изгибался и подпрыгивал. Гроза прошла. И только по временам порыв ветра, налетев на гранатовое дерево, стряхивал с его ветвей ливень сверкающих капель. Капли сыпались на землю и гасли. Пока шумела гроза, куры сидели нахохлившись, будто спали. Теперь они вдруг очнулись, хлопнули крыльями и высыпали во двор, торопливо и жадно расклеывая дождевых червей, которых дождь выгнал из-под земли на свет божий. Высунулось из-за облаков солнце, вспыхнуло глянцем

на камнях и пошло переливаться
вокруг всеми цветами радуги, играть
в воздухе, разбрызгивать по листве,
вдогонку пробегающему ветру,
блескучий лак и жаркими губами
тянуть, тянуть из земли воду.

— Что это ты засиделся в
уборной, сынок?

— Я сейчас, мама.

— Будешь там долго возиться —
выползет змея и укусит.

— Я знаю.

«Я думал о тебе, Сусана.
Помнишь выгнутые спины зеленых
холмов? Когда подымался свежий
ветерок, мы запускали бумажных
змеев. Стоишь себе на гребне холма,
ветер уносит змея все выше, все

дальше, тянет за пеньковую бечевочку, и она разматывается, разматывается у тебя в руках, и сам ты словно паришь в вышине вместе со своим змеем, и уже невнятным эхом отдается в твоих ушах шумная жизнь селения. „Помоги, Сусана!“ Мягкие руки стискивали бечевочку поверх моих рук. „Разматывай!“

Мы смеялись, захлебываясь ветром. Нам было весело на ветру. Ведь он заставлял наши глаза смотреть в одну и ту же точку, соединял наши взгляды. А бечевочка все бежала и бежала у нас между пальцев вслед за летящим змеем, пока вдруг, натянувшись струной, не лопалась. Раздавался легкий треск,

словно от внезапного удара быстрых птичьих крыльев. А высоко в небе, покачиваясь на воздушных волнах, все дальше уносилась от нас наша бумажная птица. Минуту-другую еще мелькал вдаль, развеваясь по ветру, мочальный хвост, потом и он исчезал, потонув в зеленеющей бескрайности земли.

Губы твои были влажны, словно их целовал росяной рассвет».

— Сейчас же выходи из уборной! Не тебе сказано?

— Иду, мама, иду!

«Я вспоминал о тебе. Ты стояла и смотрела на меня. Твои глаза были цвета морской лазури».

Он поднял голову и увидел мать,

она ждала его за дверью.

— Что ты торчишь тут целый час? Чем ты занимаешься?

— Я думаю.

— Думать можно и в другом месте. А сидеть подолгу в уборной вредно. Делать тебе, что ли, нечего? Поди к бабушке, поможешь ей лущить маис.

— Иду, мама, иду.

— Бабушка, я пришел тебе помогать. Давай лущить вместе.

— Да тут уж ничего и не осталось. Мы сейчас шоколад молоть будем. Куда это ты запропастился? Такая гроза, а тебя нигде нет, с ног сбились, разыскивая.

— А я на том дворе был.

— Что ты там делал? Молился?

— Нет, бабушка, я смотрел на дождь.

Бабушка внимательно поглядела на него. Глаза у нее были особенные: серые с рыжими крапинками, и как взглянет, так, кажется, видит тебя насквозь.

— Хорошо. Поди почисти мельницу.

«Сусана, ты там, высоко-высоко, выше самых высоких облаков, выше всего, что есть высокого в мире. Ты таишься от меня в непостижимости божества, ты недосягаема для меня, ты скрыта от моих взоров божественным провидением, ты там,

куда не доходят мои слова».

— Бабушка, у мельницы винт сломан.

— Видно, Микаэла опять молола маисовые початки. И когда только я ее отучу! Ну, да ничего не поделаешь.

— А почему бы нам не купить новую мельницу? Эта давно уже никуда не годится. На что ее, такую старую?

— Что верно, то верно. Но ты забыл, во сколько нам обошлись дедушкины похороны, а ведь мы еще и десятинный сбор церкви выплатили. Без гроша остались... Все-таки как ни верти, а придется на новую мельницу разориться. Сбегай-

ка, милый, к донье Инее Вильяльпандо. Попроси у нее до октября в долг. Урожай соберем — расплатимся.

— Хорошо, бабушка.

— А заодно, чтобы уж все зараз справить, скажи ей, пусть сито нам одолжит и садовые ножницы. Кусты у нас в изгороди вон как вымахали, выше головы. Да, жила бы я в старом своем большом доме, ни о чем бы не тужила. Какие у нас там стены вокруг патио были крепкие! Это все дедушка твой, пустил хозяйство по ветру и сюда переехал. Видно, уж от Бога оно положено: не так живи, как хочется. Передай донье Инее: соберем урожай — тут же отдадим.

— Хорошо, бабушка.

Он заметил порхающих в воздухе колибри. Они всегда прилетали в эту пору. Прислушался. В буйной кипени цветущего жасмина стоял тонкий звон их трепещущих крылышек.

Он забежал в комнату и достал двадцать четыре сентаво, засунутые за консоль, на которой виселось изображение Пресвятого сердца. Двадцать сентаво он взял, а четыре положил на прежнее место.

В дверях его остановил голос матери:

— Куда ты?

— За новой мельницей, к донье Вильяльпандо. Старая сломалась.

— Скажи донье Инее, пусть отмеряет тебе метр черной тафты, такой вот, как эта, — она сунула ему в руку лоскуток для образца. — Пусть припишет к нашему счету.

— Хорошо, мама, скажу.

— А на обратном пути купишь мне таблеток кофеина с аспирином. Деньги лежат в вазочке, знаешь, что стоит на плетеной салфетке?

В вазочке оказалось одно песо. Он взял его, а свои двадцать сентаво спрятал обратно за консоль.

«С таким капиталом жить можно!» И он пустился вприпрыжку.

— Педро! — неслось ему вдогонку. — Педро! Где там! Его и след простыл.

Вечером снова хлынул ливень. Педро долго лежал, прислушиваясь к шуму и плеску воды, но, должно быть, незаметно уснул, потому что когда проснулся, дождь едва шуршал по крыше. Окно запотело, а с той стороны дождевые капли собирались на стеклах в толстые жгуты и, как слезы по щекам, скатывались вниз. «Я смотрел на сверкающие в свете молний капли дождя, и каждый мой вздох был вздохом по тебе, и каждая мысль моя была мыслью о тебе, Сусана».

Ветер разогнал грозовые тучи. До его слуха донеслось: «Отпущение грехов и воскресение плоти. Аминь!»
Заключительные слова

молитвословия по четкам. Где-то в комнатах молились женщины. Потом он услышал, как они поднялись с мест, как затворили на ночь птичник, как запирали тяжелым засовом двери дома. Потом погасили огонь.

Теперь в комнату проникал лишь свет ночи и шорох дождя, похожий на едва слышный треск цикад...

— Почему ты не пришел с нами молиться? Девятидневные поминальные моления следует совершать усердно, а девять дней после смерти дедушки еще не прошли.

На пороге со свечой в руках стояла мать. Ее тень протянулась вверх по стене и, перегнувшись,

легла на потолок, но потолочные балки сломали ее, будто перебили ей кости.

— Мне и так не весело, — ответил он.

Тогда она повернулась. Погасила свечу. Прикрыла за собой дверь. И он услышал, как мать заплакала. Она плакала долго, и плач ее вплетался в шелест дождя.

На церковной колокольне били часы, били беспрерывно, снова и снова, будто между часом и часом не пролетало и минуты.

— Да, да, ведь твоей матерью чуть было не стала я. Неужто она тебе никогда не рассказывала?

— Нет, она вспоминала только про хорошее. А про вас я первый раз услышал от погонщика, с которым мы шли сюда. Его зовут Абундио.

— Вот молодчина так молодчина! Не забыл, значит, меня. И то сказать, я Абундио не обижала, платила ему за каждого постояльца, которого ко мне посылал. Обоим выгода. А нынче плохие настали для нас времена. С тех пор как пришло сюда разорение, никто к нам больше не ездит. Так, стало быть, это он тебе посоветовал остановиться у меня?

— Да, и сказал, как вас разыскать.

— Вот спасибо ему, вот спасибо. Хороший он был человек, верный. Он

почту нам доставлял, все годы, пока был здоров, да и после, глухой, тоже возил. Как сейчас помню злосчастный тот день, когда приключилась с ним эта беда. Все его жалели. Любили потому что. Приедет, нам письма привезет и наши заберет, расскажет, что там, за горами, на свете делается. А тамошним людям, само собой, про нас новости передаст. Хлебом его не корми, дай порассказать да послушать. А оглох — ну ровно подменили человека: молчуном стал. «Как же я, говорит, буду рассказывать про то, чего своими ушами не слышал? Ни охоты у меня на это нет, ни интереса. Звука не слышу, вкуса

речи не чувствую — не разговоришься». А вышло-то все из-за пустяка. Змей мы тут петардами отпугивали, вот и рванула у него хлопущечница над самой почти головой. Примолк он с той поры, словно бы онемел. Но только нет, говорить он не разучился. Да и люди его по-прежнему любили.

— Погонщик, который меня к вам послал, хорошо слышал.

— Стало, это другой какой-нибудь. Да ведь и умер-то Абундио. Наверняка умер. Выходит, что никак не мог он тебе провожатым быть. Сам посуди.

— Не мог, конечно, вполне с вами согласен.

— Я тебе все хочу про маму твою рассказать...

Она сидела напротив меня. Слушая ее рассказ, я имел время хорошо ее разглядеть. Тяжело ей, вероятно, жилось в последние годы. Бескровное, почти прозрачное лицо. Иссеченные морщинами, натруженные руки; натруженные и бесконечно усталые. Глаза глубоко запали, их и не видно. Платье на ней было белое, старинного фасона, все в оборках и оборочках; на шее висел образок «Покрова Богоматери» с круговой надписью: «Покров и упоование грешных».

— ...Парень этот, про которого я говорю, был работником в Медиа-

Луне, объездчиком лошадей. Имя ему было Иносенсио Осорио. Но только звали его все Кузнечиком — очень уж ловок был прыгать. Куманек Педро говаривал, что с такими прыгучими ногами на роду написано служить объездчиком. И еще в одном деле он толк знал — ведовстве. Чары умел наводить. И уж подлинно от Бога было ему дано. Захочет — и нашлет на тебя: глаза отведет, разум отнимет. Многих он так запутал, и маму твою тоже, да и мне голову заморочил. Как-то раз заболела я. Приходит он ко мне и говорит: «Сейчас я тебя вылечу. Растиранием». А растирание у него такое: хватает он тебя за руки — и тереть, сперва кончики пальцев,

потом выше, выше забирает, разминает до локтей, к плечам поднимается, потом одеяло с тебя скинет — лежишь раскрытая, холодно, дрожь пробирает, он знай себе голени твои мнет. Глядишь, уже и тепло стало, по всему телу жар разливается. Руки у него так ходуном и ходят, а сам тем временем рассказывает, что тебя впереди ждет. Говорит, говорит, как в горячке, глазами вертит, божится, плохими словами ругается, слюной тебя всю обрызжет, ни дать ни взять цыган на ярмарке. А иной раз так разойдется, что одежду с себя посрывает, останется в чем мать родила. Желанию своему, говорит, уступать

надо. Глядишь, и вылечит, сколько раз так бывало. Переменет тебя всю, ну и нащупает место, где угнездилась болезнь.

И вот пришла к нему твоя мать, а он ей и говорит: «Нынче ночью ты с мужчиной не ложись, месяц гневается».

Долорес — ко мне, сама чуть не плачет. «Что делать, — убивается, — нельзя мне». То есть что невозможно ей лечь в эту ночь с Педро Парамо. А это первая была ее брачная ночь. Я ее уговаривать: «Да не верь ты этому Осорио. Что его слушать, плут он и обманщик».

«Не могу я идти, — отвечает. — Иди ты вместо меня. Педро не

заметит».

А я-то совсем еще девчонка была. И лицом не такая смуглая. Ну, да в темноте все кошки серы.

«Как можно, Долорес. Самой тебе идти надо».

«Сделай милость. В долгу не останусь».

Необыкновенной кротости были в ту пору глаза у твоей матери. Вся красота ее была — глаза. Взглянет — и ни в чем ты ей не откажешь.

«...Иди, — твердит, — иди вместо меня».

Я и пошла.

Темнота меня выручила. И еще одно, про что матери твоей было невдомек: мне-то Педро Парамо

тоже нравился.

Легла я с ним. По доброй воле легла и с радостью. Так вся к нему и прилипла. А ему хоть бы что, бесчувственный лежит, до того за день умаялся от гульбы, что всю ночь без памяти прохрапел. Только ноги свои за мои заплел — тем все и кончилось.

Поднялась я еще до света и побежала к Долорес.

«Теперь ты иди, — говорю. — Сегодня тебе уже можно».

«Было между вами что?» — спрашивает.

«Не разобрала я».

А на другой год ты родился, но не у меня, хотя не стала я твоей

матерью по чистой случайности.

Мать, наверно, постыдилась тебе про это рассказывать.

«...Смотреть на зеленые равнины. Видеть, как линия горизонта дышит в такт колыханию нив, волнуемых ветром. Как струятся по лицу вечера прозрачные кудри дождя. Впитывать краски земли, запах люцерны и свежее испеченного хлеба. И сладковатый, — будто от пролитого меда, — аромат, растворенный в воздухе улиц...»

Она никогда не любила Педро Парамо. А он злился: «Долорес! Подадут мне сегодня завтрак или нет?!» И мама твоя подымалась до

зари. Сама разводила огонь в очаге, пекла лепешки, поджаривала зерна какао и кофе. Почуяв дымок, просыпались кошки. Долорес хлопотала с готовкой, а кошки — всей стаей — ходили за ней, куда она, туда и они.

«Донья Долорес!»

Сколько раз на дню приходилось твоей матери слышать этот окрик! «Донья Долорес! Жаркое остыло! Мясо нельзя в рот взять!» Сколько раз? И хоть она уже привыкла к такому обращению, ее кроткие глаза стали угрюмыми.

«...Вдыхать вместе с теплым воздухом запах цветущих апельсиновых деревьев, поглотивший

все другие запахи».

Ходит, бывало, и все вздыхает.

«О чем это вы так вздыхаете, Долорес?»

В тот вечер я гуляла вместе с ними. Мы шли по полю и смотрели, как перелетают с места на место стаи дроздов. В небе над нашими головами кружил ястреб.

«О чем это вы так вздыхаете, Долорес?»

«Были бы у меня крылья, как у того ястреба, полетела бы я к своей сестрице».

«Зачем же лететь, донья Долорес? Неужто я вам пожалею денег на дорогу? Сегодня же и поезжайте, не откладываяйте. Идемте

домой. Я прикажу уложить ваши чемоданы. Полетела бы! Надо же такое придумать».

И твоя мать уехала.

«Прощайте, дон Педро».

«Счастливого пути, Долорес!»

Она не вернулась больше в Медиа-Луну. Прошло много месяцев, и я спросила Педро Парамо, как поживает Долорес.

«Сестра была ей дороже меня. Видно, ей там медом помазано. А мне она последнее время только на нервы действовала. Будь спокойна, наводить о ней справки я не собираюсь».

«Но надо же им на что-то жить?»

«Не пропадут, Бог милостив».

«...Он ни разу про нас с тобой не вспомнил, сынок. Пусть же он дорого тебе за это заплатит».

С тех пор мы о ней ничего больше не слышали. До вчерашнего дня. Вчера она предупредила меня, что ты ко мне пожуешь.

— Да, много было всего пережито, — проговорил я. — Мы с мамой поселились в Колиме, у тети Гертрудис, и она попрекала нас, что мы сидим у нее на шее. «Почему ты не возвращаешься к мужу?!» — кричала она матери.

«А разве он присылал за мной? Пока он сам меня не позовет, я не вернусь. Я приехала к тебе, потому

что хотела повидаться. Потому что люблю тебя».

«Очень хорошо. Но не гостить же тебе у меня всю жизнь. Пора и честь знать».

«Если бы дело было за мной».

Я думал, что женщина слушает меня, но вдруг заметил — она сидит, чуть склонив голову набок, словно силится уловить какой-то отдаленный шум. Наконец она спросила:

— А не пора ли нам спать?

«В тот день, когда ты ушла, я понял, что больше не увижу тебя. Ты удалялась, вся залитая алым светом вечернего солнца, омытая кровью

меркнувшего неба. Ты улыбалась. Ты покидала селение, о котором часто говорила: „Я люблю его из-за тебя, но ненавижу за все остальное, даже за то, что родилась здесь“. Я подумал: „Она не вернется“. И я несколько раз повторил про себя: „Сусана никогда не вернется. Никогда. Никогда“».

— Что ты тут делаешь в такое время? Почему ты не на работе?

— Я на работе. Но Рохелио велел мне присмотреть за малышом. Вот я и вышел с ним погулять. Рохелио себе в бильярдной посиживает, пиво распивает, а я тут разрываюсь между мальчишкой и телеграфом. Да он и

не платит мне ни черта.

— Ты ведь к нему не для заработка поступил, а в ученики. Выучишься, тогда и будешь требовать. Ученик — еще не настоящий работник. Ничего, зато после, может, начальником-то станешь ты. Но для этого нужно иметь терпение, а главное — быть исполнительным. Посылают тебя с малышом гулять — не прекословь, иди. Что поделаешь, Господь терпел и нам велел, надо покоряться.

— Покоряются пусть другие, бабушка. А я быть покорным не собираюсь.

— Ну пошел чудить, норов показывать. Ох, чует мое сердце, не

погладит тебя жизнь по головке,
Педро Парамо.

— К чему вы прислушиваетесь,
донья Эдувихес?

Она встряхнула головой, будто
очнулась ото сна.

— Это конь Мигеля Парамо. Он
скачет по дороге на Медиа-Луну.

— Значит, в Медиа-Луне еще
живут?

— Нет, там никто больше не
живет.

— А как же конь?

— Конь? Он сам по себе. Его
часто слышно. То туда проскачет, то
обратно. Они ведь неразлучные
были. Вот он и ищет его, носится по

округе, а об это время непременно возвращается. Видать, совесть его мучает, он и не находит себе места. Скотина, она тоже чувствует, если виновата.

— Я не понимаю, о чем вы говорите. Никакого лошадиного топота я не слышал.

— И сейчас не слышишь?

— Нет.

— Стало быть, это у меня вроде шестого чувства. Наградил меня Господь таким даром. А может, и не дар это вовсе, а проклятие мое. Ни один человек на свете не знает, что я из-за этого выстрадала.

Она примолкла.

— Началось все с Мигеля

Парамо, с крестника моего, — заговорила она снова. — Одной только мне и открылось, что с ним было в ту ночь, когда он убился. Я уж спать легла. Вдруг слышу: жеребчика его топот. Мчится конь назад в Медиа-Луну. Чудно оно мне показалось: никогда Мигель об эту пору не возвращался. Все на рассвете. К девчонке он в Контлу ездил, городок такой у нас тут есть. Путь-то не близкий. Выедет рано, а вернется поздно, всю ночь у окошка с ней пролюбезничает. Только не вернулся он в тот раз... Вот теперь, слышишь? Да слышно же, так и топочет! Возвращается.

— Нет, я ничего не слышу.

— Стало, до меня лишь оно доходит. А что не вернулся он в ту ночь, так ведь это только сказалось — не вернулся. Было-то оно вот как. Заглох конский топот, чую, будто мне в окошко стучат, тихонько этак. — Может, померещилось, думаю. Но ровно подтолкнуло меня: встала, отворяю окно: «Кто там?» Смотрю — Мигель Парамо. Я и не удивилась, он ведь прежде ко мне хаживал, ночевать оставался, пока краля эта ума его не лишила.

«Ну что, — спрашиваю, — дала тебе от ворот поворот?»

«Нет, — отвечает, — она меня любит. Да только не доехал я до нее сегодня: городка отыскать не смог.

Дорогу туманом застлало, а может, дым это, не знаю, — нету города и нет. Поеду, думаю, дальше. Поехал — и опять ничего, поле пустое. Я и вернулся тебе рассказать. Ты-то хоть поверишь, а то заикнись я про это в Комале, совсем сбрендил, скажут. И так уж меня шалавым зовут, я ведь знаю».

«Сбрендил, говоришь? Нет, Мигель, нет. Умер ты, видно, вот что. Твердили же тебе: „Брось этого жеребца, больно норовист, гляди, как бы жизни тебя не решил“. Помнишь, Мигель? Или, может, это не конь виноват? Может, это ты сам сотворил что, набедокурил?»

«Ничего я не сотворил, только

через ограду каменную перескочил, знаешь, которую отец недавно велел поставить. Не хотелось мне в объезд ехать, крюку давать. Стегнул я Рыжего, перемахнул через стенку и дальше поскакал; но говорю ж я тебе, тьма кругом пала, дым глаза застилает, — дым, один дым кругом».

«Отца твоего горе в дугу согнет, когда он утром узнает, — говорю ему. — Жалко мне твоего отца. А теперь, Мигель, уходи, покойся с миром. Спасибо, что не забыл, пришел со мной попрощаться».

И я затворила окно.

А под утро прибегает ко мне батрак из Медиа-Луны:

«Меня к вам хозяин послал.

Ниньо Мигель насмерть убился. Дон Педро просит: приходите скорей».

А я ему: «Знаю, мол, все». И спрашиваю:

«Ты чего плачешь? Велели тебе, что ли?»

«Ага, — отвечает, — мне дон Фульгор наказывал: „Станешь говорить, а сам плачь“».

«Хорошо. Передай дону Педро, сейчас приду. Давно его привезли?»

«Полчаса не будет. Раньше бы нашли — спасли, может. Но только доктор говорит — нет. Он когда его смотрел, общупал всего и сказал: давно, дескать, он кончился, успел зачоченеть. Мы бы и не знали про

Мигеля, да Рыжий назад прискакал — один, храпит, землю копытами роет, всех перебудил. Они же с Рыжим друг без друга жить не могли, сами знаете. И сдается мне, конь сильнее по Мигелю крушится, чем дон Педро. Ни к кормушке, ни к поилке не подходит, в стойле не стоит, то туда кинется, то сюда. Будто каленым железом жжет его изнутри или грызет что, отравка какая».

«Будешь уходить, дверь за собой прикрыть не забудь».

Ушел он.

— Ты слышал когда-нибудь, как умершие стонут? — спросила она.

— Никогда, донья Эдувихес.

— Твое счастье.

Из крана водоразборной колонки каплет вода. Она пробилась сквозь каменную толщу земли, и ты слышишь, как светлые, чистые капли падают одна за другой в цементную чашу. Ты прислушиваешься к их падению, внятному, несмотря на другие шумы. Ты слушаешь: вот чьи-то шаркающие шаги, а вот чьи-то твердые, ровные. Шаги, шаги. Они то приближаются, то удаляются. Безостановочно каплет вода. Она льется через край чаши и бежит дальше, увлажняя землю.

«Простись!» — приказывает чей-то голос.

Знакомый голос. Кто это? Нет,

не угадать: тело расслаблено сонной истомой, она наваливается на тебя всей своей мягкой тяжестью, заставляет откинуться на подушку, отдаться дреме. Руки сами цепляются за край одеяла, тянут его на голову — только бы нырнуть туда, в сладкое тепло и покой.

«Проснись!» — снова раздается у него над ухом.

Голос хватает его за плечи, принуждает сесть на постели. Он приоткрывает глаза. Он слышит, как падают в плоскую цементную чашу капли из крана. Шаги. Тяжелые, волочащиеся. И плач. Только теперь он расслышал плач, и это разбудило его. Тихий, пронзительный плач.

Такой пронзительный, что проник сквозь плотную путаницу сна и выпустил на волю таившиеся в темном закоулке страхи.

Он медленно поднялся с постели и увидел затененную ночным сумраком фигуру женщины. Женщина стояла, припав головой к дверному косяку, и всхлипывала.

«Почему ты плачешь, мама?» Встав, он разглядел, что это — его мать.

«Твой отец... умер», — произнесла она.

Внезапно разжавшаяся пружина горя бросила ее оземь, и она в беспамятстве стала кататься по полу, но его руки легли ей на плечи,

укрошая ей самой уже неподвластное тело, подняли на ноги.

За дверью свинцово мутнело предутреннее небо — без звезд. От него шел тусклый бурый свет, не проясненный лучами зари. Брезжил день, но он был похож на густые вечерние сумерки.

А снаружи, в патио, все тот же шорох шагов, несмолкаемый, непрерывный. И приглушенные шумы. И в проеме дверей — женщина, его мать. Она загородила собою рассвет, и день был бессилён вступить в комнату. Из-под ее рук, из-за плеч клочками прорывалось небо, ручейки света омывали ее ноги, разбрызгивались по полу, и оттого

казалось: она стоит на земле,
полившей слезами. Снова
всхлипывания. Снова тихий,
пронзительный плач, и мука,
рвущаяся наружу судорожными
корчами тела.

«Твоего отца убили».

«А тебя кто убил, мама?»

«...Воздух свеж, сияет яркое
солнце. Синее высокое небо, и по
небу плывут облака. А там, за этим
синим небом, может быть, звучит
музыка и поют голоса, каких мы не
слышали на земле... И все это вместе
— упование и надежда. И мы,
несмотря ни на что, уповаем.

Но тебе, Мигель Парамо, не на
что уповать, ибо ты умер без

отпущения грехов, и милость Божия тебя не коснется».

Падре Рентерия повернулся к собравшимся в церкви и произнес заключительные слова мессы. Он не сопровождал их обычным напутственным благословением — служба была заупокойная — и поспешно спустился со ступеней алтаря: он явно торопился уйти.

— Падре, благословите усопшего!

— Нет! — Священник отрицательно покачал головой. — Я не вправе дать ему благословение. Он был дурным человеком и не вникнет в царство Божие. Я не могу предстательствовать за него в своей

молитве. Господь засчитал бы мне это во грех.

Он говорил, стискивая руки, чтобы незаметно было, как они дрожат.

И все-таки он выполнил желание присутствующих.

Это мертвое тело под горою цветов, лежавшее между высокими горящими свечами на катафалке посреди церкви, занимало слишком много места в душах людей. А в изголовье гроба стоял отец, нетерпеливо ожидая конца заупокойной службы.

Проходя мимо Педро Парамо, падре Рентерия подался назад, чтобы случайно не задеть хозяина Медиа-

Луны. Он поднял кропило и слабыми взмахами руки покропил катафалк святой водой. Губы его что-то шептали, и этот шепот вполне мог сойти за молитву. Затем он преклонил колени, и все последовали его примеру.

— Помилуй, Господи, раба твоего.

— Да почиет в мире. Аминь! — хором отозвалась церковь.

А когда гнев вновь подступил к его сердцу, толпа уже выносила из храма гроб с телом Мигеля Парамо.

Педро Парамо подошел и опустился на колени рядом со священником.

— Я знаю, падре, вы его

ненавидели. И было за что. Молва приписала убийство вашего брата моему сыну. Над вашей племянницей было совершено насилие, и вы утверждали, что надругался над нею Мигель. Он бывал непочтителен с вами и даже оскорблял вас. Ваши чувства понятны. Но теперь забудьте об этом, падре. Проявите должное уважение к усопшему и простите его, как, быть может, простил его Господь.

Он положил на скамеечку для коленопреклонения пригоршню золотых монет и встал.

— Примите от меня эту лепту на нужды вашего храма.

В церкви уже никого не было.

Только в притворе двое людей поджидали Педро Парамо. Он присоединился к ним, и они вместе вышли на паперть, где стояли, с гробом на плечах, четверо старших работников из Медиа-Луне. Процессия двинулась к кладбищу.

Падре Рентерия взял со скамейки одну за другой золотые монеты и приблизился к алтарю.

— Это — Тебе, — произнес он. — У него есть на что купить спасение души. И лишь Тебе ведомо, довольно ли здесь для этого денег. Я же, Господи, припадаю к Твоим стопам, моля покарать его, справедливо это или нет, ибо просить дозволено обо всем... Молю

Тебя, покарай его.

И он запер алтарь.

Священник вошел в ризницу, упал в углу на скамью и в сокрушении сердца горько заплакал, и плакал, пока не иссякли слезы.

— Хорошо. Я отступаюсь, Господи, — проговорил он, отерев глаза.

Вечером падре Рентериа, как и всегда за ужином, выпил чашку шоколада. Спокойствие вернулось к нему.

— Послушай, Ана. Ты знаешь, чьи сегодня были похороны?

— Нет, дядя, не знаю.

— Помнишь Мигеля Парамо?

— Да, дядя.

— Так вот — его.

Ана потупила голову.

— Ты твердо уверена, что это был он? Да?

— Нет, дядя. Твердо уверена? Нет. Я не видела его лица. Ведь он напал на меня ночью, в темноте.

— Откуда же ты взяла, что это он?

— Он мне сам сказал: «Не пугайся, Ана. Я Мигель Парамо». Так он сказал.

— Но ты знала, что он убийца твоего отца, да?

— Да, дядя.

— Что же ты сделала, чтобы прогнать его?

— Ничего.

На минуту наступило молчание. Слышно стало, как шелестит в листве миртового дерева теплый ветерок.

— Этим он и объяснил свой приход. Он сказал, что пришел повиниться передо мной и испросить у меня прощения. Я, не подымаясь с постели, проговорила: «Окно открыто». И он прыгнул в комнату. Он подошел ко мне, обнял и поцеловал, и я посчитала, что это он просит прощения. И я улыбнулась ему. Я вспомнила, как вы учили меня: ни к кому не питай ненависти. Я думала выразить ему это улыбкой, помню, у меня еще мелькнула мысль, что в такой темноте он все равно

ничего не увидит, потому что и я ведь его не вижу. Но тут он вдруг навалился на меня всей тяжестью, и я почувствовала, что он хочет сделать надо мной дурное: задушить, убить. Другое мне в голову не приходило. И чтобы умереть раньше, чем он отнимет у меня жизнь, я перестала думать. Но у него, наверно, не хватило духу убить меня.

Очнулась я, когда рассвело. Окно было распахнуто настежь. Я поняла, что жива. Не знаю, сколько прошло времени с той минуты, когда мне показалось, что меня уже нет.

— Но откуда-то взялась же у тебя уверенность, что это был он? Скажем, голос. Это был его голос?

— Не знаю. Я ведь никогда его раньше не видела. И после не видела. Как же я могла его признать? Мне только было известно, что он убил моего отца.

— Но ты же знала, что это за человек.

— Да. И что он способен на все. Но если это был он, я верю, душа его ввергнута теперь в самую глубь преисподней. Я молила об этом святых, они не могли отринуть моей горячей мольбы.

— А я не уверен, что твоя молитва услышана, дитя мое. Кто скажет, сколько людей молятся о нем сегодня! Твоя мольба одинока — одна против тысячи. И среди этой

тысячи есть молитва, которая весит больше любой твоей, — молитва отца.

У него чуть было не вырвалось: «И кроме того, я сам дал ему отпущение грехов». Но он только подумал об этом, вслух он не сказал ничего: жестоко было бы нанести надломленной юной душе еще и эту рану. И, взяв племянницу за руку, он проговорил:

— Возблагодарим Господа Бога за то, что он избавил землю от грешника, совершившего на ней столько зла. Возблагодарим, пусть даже он и взят на небо.

На всем скаку промчался конь

через перекресток шоссе и дороги на Контлу. Никто не заметил его. Только женщина, поджидавшая кого-то у околицы, рассказывала потом, будто видела взметнувшегося в воздух коня. Все его четыре ноги были поджаты, и женщина испугалась, что сейчас он грянется брюхом оземь. Она узнала рыжего жеребца, любимца Мигеля Парамо. И еще подумала: «Убьется конь». Но в следующий миг жеребец уже неся бешеным скоком дальше и только все заворачивал голову, будто оглядывался на что-то страшное, оставшееся позади.

Толки об этом дошли до обитателей Медиа-Луны вечером в день похорон. Батраки отдыхали,

устав от длинной дороги на кладбище и обратно.

Шел, как всегда перед сном, неторопливый разговор.

— Про нынешние похороны вспоминать и то тяжело, — вздохнул Теренсио Лубианес, — гроб тяжелей каменного, все плечи мне обломал.

— И у меня плечи ломит, — пожаловался его брат Убийльядо. — Да еще мозоли себе натер на ногах. Занадобилось, видишь, хозяину, чтобы мы непременно сапоги обули. Будто праздник какой, верно я говорю, Торибио?

— Праздник не праздник, но я так скажу: окочурился он вовремя, в самый раз.

Подоспели новые вести из Контлы. Их доставил возчик, пригнавший последнюю в этот день упряжку.

— Сказывают, душа его по улицам бродит. Люди видели, к одной бабенке в окошко стучался. Он, как есть он. Краги и вся одежда его.

— Сказывают, сказывают. Да разве дон Педро при своем нраве позволит сыну с того света к бабам таскаться? Узнай он про этакое непотребство, он его живо укоротит. «Ты вот что, — скажет, — помер, так и лежи у себя в могиле. Без тебя тут управимся». Попадись только Мигель ему на глаза, голову прозакладываю, сразу его обратно на

кладбище спровадит.

— Это ты верно говоришь, Исайя. Скор старик на расправу, канителиться не станет.

— За что купил, за то и продаю, — обиделся возчик и поехал дальше.

Шел звездопад. Мнилось, с неба льется на землю огненный дождь.

— Глядите-ка, — подивился Теренсио. — Никак, в раю нынче фейерверк жгут.

— На радостях. В честь прибытия Мигеля, — съязвил Хесус.

— А может, это знамение? Да и не к добру?

— Не к добру? Это для кого же, скажем?

— А хотя бы для сестрицы твоей. Без Мигеля ей скучновато будет.

— Ты это кому говоришь? Мне?

— Тебе. А то кому же.

— Пошли-ка, ребята, спать. Уморились мы сегодня, а завтра вставать спозаранок.

И они растаяли в темноте, словно тени.

— Ты ей передай, — бросил кто-то на прощанье, — пусть не убивается. В случае чего я утешить могу!

— Это уж лучше ты передай своей сестрице. От меня, — откликнулся чей-то голос.

Шел звездопад. Огни в Комале

погасли. Ночью завладело звездное небо.

Падре Рентериа ворочался в постели с боку на бок. Ему не спалось.

«Во всем, что случилось, виноват я один, — упрекал он себя. — Все боюсь, как бы не обидеть тех, от кого завишу, кто меня кормит. Вот она — правда. С бедняка велика ли корысть, а одними молитвами сыт не будешь. Так оно было всегда. И вот к чему это привело. Моя вина. Я предал тех, кто шел ко мне с любовью и верой, прося меня о заступничестве перед Богом. Чего добились они своей верой? Открыли себе путь к вечному

блаженству? Или, может быть, воскресли духовно? Но к чему воскресать духовно, если под конец, в последний миг... До сих пор не выходит у меня из памяти взгляд, каким смотрела на меня Мария Дийяда, когда пришла просить о спасении души своей сестры Эдувихес».

«Она ничего не жалела для ближнего, падре. Последнее отдавала. И всех любила, всех без различия. Даже сына им родила — всем вместе. И всем им его показала, может, кто признает его. Но они не захотели его признать — ни один. Тогда она сказала им: „Что ж, буду ему и за отца, хотя по случайности

стала его матерью“. Они злоупотребляли ее гостеприимством, потому что знали ее доброту, знали, что она не хочет никого обижать и никогда не покажет, что кого-то любит больше, а кого-то меньше».

«Но она самоубийца. Она восстала против воли Господа».

«А что ей оставалось делать? Ведь и до этого греха ее довела доброта».

«Сколько в жизни вытерпеть, — сказал я ей, — и под конец оступиться! В самую последнюю минуту! Столько добрых дел совершить во спасение своей души — и в одно мгновение обратить свои сокровища в прах!»

«Нет, падре, она не обратила их в прах. Она скончалась в таких страданиях. А страдания... Вы сами говорили на проповеди, что страдания... нет, запомнила я. А уж она ли не страдала! От боли ведь она умерла. Кровью, бедная, захлебывалась, скорчилась вся, лицо перекошено, взглянуть и то страшно. На веку своем не видала я такого горького, мученического лица».

«Не знаю, может быть, если усердно молиться...»

«Мы уж и так молимся, падре».

«Нет, одних ваших молитв мало. Нужно заупокойную обедню отслужить, с органом, с певчими, да не одну. Своими силами мне тут не

обойтись, еще священников нужно, а посылать за ними — стоит больших денег».

Вовек не забыть мне выражения ее глаз. Так и стоит она передо мной, Мария Дийяда, многодетная мать, беднячка из бедняков.

«Денег у меня нет. Вы ведь знаете, падре».

«Тогда оставим все как было. Надо уповать на Господа».

«Да, падре».

Голос ее прозвучал смиренно, но глаза были полны непокорства. Что стоило ему дать это отпущение? Каких-нибудь два-три слова — разве это так трудно? И даже сто слов, ведь дело шло о спасении души! Что

может он знать о рае и аде? Нет, нет! Хотя он всего лишь безвестный священник из никому не ведомого селения, имена тех, кто заслужил райское блаженство, он знает твердо. На это есть святцы. И он стал перебирать в памяти имена святых католического пантеона, начиная с тех, чей день был сегодня: «Святая Нунилона, девственница и великомученица; епископ Анерций; святые: вдова Саломея и девы Алодия, Элодия и Нулина; Кордула и Донат». Он шептал все новые и новые имена. Его начала одолевать дремота, но он поборол ее и сел на кровати: «Я перечисляю святых, как пересчитывают коз, заставляя их

прыгать через канаву».

Он вышел из дому. Все так же лился с вышины звездный дождь. Это почему-то его раздосадовало. Ему бы хотелось видеть спокойное небо. Пропели петухи. Земля спала, укутавшись покрывалом ночи. Земля, «юдоль слез».

— Твое счастье, сынок. Твое счастье, — проговорила Эдувихес Дийяда.

Была поздняя ночь. Огонь лампы в углу комнаты едва теплился, потом он замерцал и погас.

Я слышал, как хозяйка моя встала, и решил, что она пошла за другой лампой. Шаги ее удалялись. Я

сидел и ждал.

Прождав довольно долго и видя, что она не возвращается, я поднялся с места и, осторожно переступая, двинулся в темноте на ощупь. Кое-как добравшись до своей комнаты, я опустился на пол и попытался уснуть.

Временами я задремывал.

Крик раздался внезапно, в одну из минут, когда я не спал. Тягучий, надрывный вопль — так орут пьяные. «Треклятая жизнь! Ох, тошно мне!»

Я вскочил на ноги. Кричали у меня над самым ухом, хотя в действительности, вероятно, кричали на улице. Нет, нет, кричали в

комнате, вопль отдавался от ее стен. А когда я пришел в себя, вокруг стояло мертвое безмолвие, и только падали в гулкой тишине на пол, ударившись об оконное стекло, ночные мотыльки.

Каким словом выразить бездонную немоту молчания, наступившего вслед за криком! Было тихо, так, будто на всей земле не стало вдруг воздуха. Звуки умерли. Ни шороха, ни человеческого вздоха. Я не слышал даже ударов собственного сердца; мысли и те, казалось, остановили свой ход. Но едва я начал успокаиваться, новый крик разорвал тишину, долгий, душераздирающий: «Развяжите меня! Нет закона, чтоб

вешать и ноги подвязывать! Дайте хоть ногами подергать!»

Дверь распахнулась.

— Это вы, донья Эдувихес? — спросил я. — Что тут происходит? Вас тоже напугал этот крик?

— Я не донья Эдувихес. Я Дамиана. Я узнала, что ты здесь, и пришла. Я хочу пригласить тебя к нам. Переночуешь у меня. У нас есть хорошая комната.

— Вы Дамиана Сиснерос? И раньше вы жили в Медиа-Луне?

— Я и теперь там живу. Потому и не сразу пришла.

— Мать рассказывала мне про Дамиану, которая нянчила меня, когда я родился. Это вы?

— Да, это я. Я знаю тебя с пеленок.

— Спасибо, я пойду с вами. Здесь мне не дают покоя эти крики. Что там стряслось? Мне показалось, будто кого-то убивают. Вы слышали, как сейчас кричали?

— Тут, наверное, эхо осталось, замурованное. В твоей комнате когда-то повесили Торибио Альдрете, давненько, правда. А дверь заколотили, пока он не истлеет, — чтобы костям его не было покоя. Не пойму, как же ты сюда попал, эту дверь ни один ключ не отопрет.

— Дверь открыла донья Эдувихес. Она объяснила, что, кроме этой комнаты, другой свободной у

нее нет.

— Эдувихес Дийяда?

— Она самая.

— Бедняжка Эдувихес! Видно, и

ее душа все еще по ночам
неприкаянная скитается.

«Я, Фульгор Седано (пол
мужской, возраст — пятьдесят
четыре года, холост; род занятий —
управляющий имением;
специальность — стряпчий), в силу
данной мне власти и в полном
соответствии с принадлежащим мне
правом вчиняю иск и заявляю
нижеследующее...»

Такими словами начал он акт о
преступных действиях Торибио

Альдрете. Кончил он его так: «Тем самым я обвиняю вышепоименованного Торибио Альдрете в присвоении чужой собственности».

— Да это никому и в голову не придет, дон Фульгор, сомневаться, что вы мужского пола. Вы еще для мужского дела вполне годный. Сами по себе годный, потому как тут никакая власть вам силы не прибавит.

Он вспоминал. Это были первые слова Альдрете после того, как они выпили; пили они вдвоем, якобы чтобы обмыть составление акта.

— А теперь, дон Фульгор, мы с вами этой бумажкой подотремся, и

точка. Никому она больше не нужна. Вы свое дело справили, исполнили, что было приказано, и меня избавили от забот, а то ведь я сам не свой ходил. Так что и вы довольны и я. Сейчас вот раскумекал что к чему — смех берет. Нечего сказать, «чужая собственность»! И как только хозяину вашему не совестно: не знает он, чья это собственность!

Он вспоминал. Они сидели в таверне у Эдувихес. И он спросил у нее:

— Эй, Вихес! Можешь отвести нам угловую комнату?

— Какую угодно, дон Фульгор, хоть бы и все вместе. А люди, что с вами, тоже останутся ночевать?

— Один останется. Ты о нас не беспокойся, ложись спать. Ключ только нам от комнаты дай.

— Вот я и говорю, дон Фульгор, — продолжал Торибио Альдрете. — Вы настоящий мужчина, никто у вас не отнимет. Не то что этот сукин сын, ваш хозяин. Сопляк вонючий! Чего он стоит? Плюнуть и растереть.

Он вспоминал. Это были последние слова, сказанные Торибио, пока он еще был самим собой. Потом он вел себя как баба, кричал: «Сила-то моя, сила куда подевалась?! Одолели! О Господи!»

Он постучал рукоятью хлыста в

двери дома Педро Парамо. Вспомнилось, как он стучал в нее впервые две недели назад. Тогда тоже пришлось ждать довольно долго. И так же, как тогда, взглянул он теперь на черный траурный бант, прибитый над дверью. Но уже не удивился, как в тот раз: «Гляди-ка, повесили! Первый-то совсем выгорел, а этот блестит, будто шелковый, и не поверишь, что старая тряпка, крашенная».

Долгонько заставили его в тот раз прождать у дверей. Он даже сомневаться начал, живет ли кто-нибудь в доме, хотел уже уходить, когда на пороге выросла фигура Педро Парамо.

— Здравствуй, Фульгор.

Собственно, это была их вторая встреча. При первой Фульгор лишь повидал Педро Парамо. Потому что Педро тогда только что появился на свет. И вот сегодня — третья. Но, по сути, первая встреча была у них две недели назад... Да, а вышло, что говорил с ним Педро как с равным. Ну и ну! Фульгор размашисто шагал за ним следом, сбивая хлыстом пыль со своих сапог. «Ничего, он у меня живо узнает, с кем имеет дело. И зачем я приехал, это он тоже узнает».

Педро провел его на скотный двор.

— Присаживайся. — Он опустился на край яслей и

выжидающе поглядел на гостя. —
Почему ты не садишься, Фульгор?

— Лучше уж я постою, Педро.

— Как тебе угодно. Но,
пожалуйста, не забывай, меня зовут
дон Педро.

Да кто он такой, этот
желторотый, чтобы так с ним
разговаривать! Этакого тона не
позволял себе даже его отец, Лукас
Парамо. Мальчишка сроду не
заглядывал в Медиа-Луну, про
хозяйство и понаслышке не знает, а
командует ему, словно батраку
какому-нибудь. Прыток! Ну, ну,
поглядим.

— Как там у вас?

Теперь пришел его черед.

«Погоди, голубчик, сейчас я тебя поставлю на место».

— Худо. Подобрали все подчистую. Последнюю скотину продали.

Он полез за бумагами, пусть посмотрит, сколько еще долгов осталось, и уже открыл было рот, чтобы сказать: «Общая сумма долга составляет...», как вдруг услышал:

— Кому мы должны? Важно не сколько, важно — кому.

Фульгор протянул ему список кредиторов.

— Трудность в том, — добавил он, — что негде взять денег на погашение.

— Негде? Почему?

— Потому, что ваша семья подорвала доверие к себе. Знали одно: брать да брать. И никогда не отдавали. За это приходится дорого расплачиваться. Я всегда говорил: «Если так пойдет, в пух проживетесь». И прожились. Конечно, на землю вашу покупатели найдутся, есть желающие. И цену дают хорошую. Хватит выкупить все векселя, кое-что еще и останется. Не густо, правда, но останется.

— Желающие? Уж не ты ли?

— Как вы могли такое на меня подумать?

— Я в праведников не верю. Клубок этот начнем распутывать с завтрашнего же утра. На первой

очереди сестрицы Пресиадо. Им, говоришь, мы должны больше всего?

— Да. И им меньше всего выплачено. Папаша ваш всякий раз откладывал их на потом. Насколько мне известно, Гертрудис живет теперь в городе, не знаю, то ли в Гвадалахаре, то ли в Колиме. Так что хозяйка поместья у них Лола, виноват, донья Долорес. Вы, наверно, слышали, ранчо Энмедио. Стало быть, расчеты надо вести с ней, с доньей Долорес.

— Завтра поедешь просить ее руки.

— Шутить изволите. Она старика не полюбит.

— Для меня. Она в общем-то

девушка не без приятности. Скажешь, что я без памяти в нее влюблен. И что, если она согласна, и так далее. По дороге заглянешь к падре Рентерия, передашь, чтобы приготовил все для венчания. Деньги у тебя какие-нибудь есть?

— Ни сентаво, дон Педро.

— Пообещай, что расплачусь потом, при первой возможности. Думаю, он не заартачится. Поедешь завтра, с утра.

— У меня тут вопрос насчет Альдрете.

— Что еще за Альдрете? Ты мне говорил про сестер Пресиадо, про Фрегосо и про Гусманов. Значит, это не все? Есть еще какой-то Альдрете?

— Тут дело с размежеванием. Он свою землю огородил и требует, чтобы на меже с нами ограду ставили мы. Хочет, чтобы раздел был произведен полностью.

— Это потерпит. Об оградах не беспокойся. Не будет оград. Земля цельная, она разделов не признает. Распространяться об этом, Фульгор, не стоит, только про себя помнить. Сейчас Лолой займись, надо это поскорей повернуть. Так и не присядешь?

— Присяду, дон Педро, присяду. Клянусь честью, очень уж мне по душе ваши речи.

— Будешь с Лолой говорить — слов не жалея, главное, про мою

любовь расписывай, они на это падки. А я и верно, Седано, в нее влюбился. Видел, глаза у нее какие? Так что пораньше завтра, прямо с утра. От хозяйства тебя освобождаю. Про Медиа-Луну пока что забудь.

«Экая хватка у мальчишки. Дьявол! — размышлял Фульгор Седано, возвращаясь в поместье. — Вот уж от кого не ожидал. „Недотепа, — дон Лукас, покойник, иначе и не называл его. — Пустельга“. Да и как было с ним не согласиться. „После моей смерти, Фульгор, придется вам другое место себе подыскивать“. — „Да уж, видно, так, дон Лукас“. — „Поверите ли,

Фульгор, хотел даже в семинарию его определить, как-никак, верный кусок хлеба и для него и для матери, когда уж меня на свете не будет. Не пошел. С духом собраться не может“. — „Да, дон Лукас, вы лучшего сына заслуживали“. — „Ни в чем на него положиться нельзя, тем паче надеяться, что он мне в старости будет опорой. Ничего не попишешь, Фульгор, неудачный у меня сын“. — „Обидно это, дон Лукас, очень обидно“».

И вот пожалуйста. Не будь Фульгор так привязан к Медиа-Луне, он бы и ехать-то к нему не подумал. Бросил бы хозяйство, и до свидания, даже не поставил бы его в

известность. Но Фульгору была земля дорога, безлесные эти, паханные-перепаханные, покорные плугу и щедрые, с каждым разом все более щедрые холмы... Милая Медиа-Луна. Да и соседние земли. «Поди-ка, поди-ка сюда, землица Энмедио!» Вот она, бежит ему навстречу. Похоже, и впрямь льнет к полям Медиа-Луны. Да, в конце концов и женщина может на что-нибудь пригодиться. «Еще и как!» — проговорил он и, похлопывая себя хлыстом по ногам, въехал в широкие ворота поместья.

Поймать Долорес в расставленную сеть оказалось делом несложным. Глаза у нее блестели,

растерянное лицо пылало.

— Вы меня в краску вогнали, дон Фульгор, простите уж. Мне и в голову не приходило, что дон Педро может обратить на меня внимание.

— Он лишь о вас и думает, сон потерял.

— Но он и получше невесту может выбрать. В Комале столько хорошеньких девушек. Они на него обидятся, когда узнают.

— Он думает только о вас, Долорес. И ни о ком больше.

— Ну что вы такое говорите, дон Фульгор, даже в жар бросает. Я и вообразить ничего подобного не могла.

— Да, он не любит выказывать

своих чувств. Дон Лукас, царство ему небесное, пытался даже убедить дона Педро, будто вы его не стоите. Педро из послушания не стал ему перечить. Но теперь, после смерти дона Лукаса, никаких препятствий больше нет. И он первым делом поручил мне съездить к вам. А мне все никак было не выбраться, знаете, хозяйство, то да се. Что, если нам назначить свадьбу на послезавтра, не возражаете?

— А это не чересчур как-то быстро? У меня и не приготовлено ничего. Надо платье венчальное заказать, ну и все, что положено. Написать сестре. Или нет, к ней я нарочного пошлю. Как ни торопись,

до восьмого апреля мне не управиться. Сегодня у нас первое. Да, раньше восьмого — никак. Передайте дону Педро, пусть подождет недельку.

— Что вы, недельку! Если бы можно, он бы сегодня с вами обвенчался. За свадебным нарядом дело не станет, мы вам пришлем все, что нужно. Покойница мать дона Педро завещала будущей невестке весь свой подвенечный туалет. Такой уж у них в роду обычай.

— Все равно, на этой неделе я не смогу. Видите ли... дело в том, что... женское нездоровье. Ах, дон Фульгор, до какого стыда вы меня довели, про такое говорить! Сердце

обмирает... Дни у меня подходят. Ох, сраму-то, сраму!

— Ну и что с того? Люди, когда в брак вступают, не смотрят, подходят дни или нет. Для них важно что? Взаимная любовь. С любовью ничего не страшно.

— Вы меня не поняли, дон Фульгор.

— Прекрасно понял. Свадьба — послезавтра.

И он вышел, а она все стояла с простертыми в мольбе руками, выпрашивая неделю отсрочки. Всего неделю!

А главное, не забыть сказать дону Педро, — ай да Педро! — восхищался Фульгор, — ловок

мальчишка, ловок! — непременно сказать ему, чтобы и он не забыл напомнить нотариусу: в брачном контракте должно быть указано, что супруги будут владеть всем своим имуществом сообща. Смотри, Фульгор, не забудь, скажи ему это завтра же утром.

Мысли Долорес были заняты другим. Схватив таз, она кинулась на кухню. «Горячая вода поможет. Хоть бы сегодня к вечеру началось. Ох, нет, все равно три дня уйдет полных. Видно, уж никуда не денешься. Счастливая! Ой, какая же я счастливая! Господи, благодарю Тебя, что Ты послал мне дона Педро!»

«Пусть даже потом я ему опостылю», — добавила она.

* * *

— Я выполнил ваше поручение, дон Педро. Она согласна. Только вот священник. За венчание без предварительного оглашения он требует шестьдесят песо. Я ему сказал, что со временем мы все заплатим, как положено. Но он заныл, что, мол, и алтарь в церкви уж больно убогий, и дома у него обеденный стол, того и гляди, развалится. Я пообещал, что пришлю ему новый стол. Тогда он на вас

начал жаловаться, дескать, в церковь никогда не заглядываете. Я пообещал, что теперь будете ходить к мессе исправно. А он опять: почему с тех пор, как бабушка ваша умерла, десятина не плачена. Я ему: не беспокойтесь, все выплатим сполна. Уломал-таки.

— Ты у Долорес денег вперед не попросил?

— Нет, не попросил. Смелости не хватило. Очень уж она счастлива была, я и побоялся, не окатить бы ее холодной водой.

— Ты младенец, Фульгор.

«Ну и ну! Это я-то — младенец! В мои пятьдесят пять лет! У него еще молоко на губах не обсохло, а я одной

ногой в могиле стою».

— Всю радость, думаю, ей испорчу.

— Вот я и говорю, младенец ты.

— Приму к сведению, хозяин.

— На той неделе съездишь к Альдрете, скажешь, пусть снимает ограду, он кусок нашей земли отхватил.

— Нет, хозяин, он правильно провел межу, это я вам ручаюсь.

— Так вот, скажешь ему, что он ошибся. Промер у него вышел. Станет возражать — вели разломать ограду.

— А закон?

— Какой закон, Фульгор? Отныне и впредь закон здесь будем

устанавливать мы с тобой. Найдется у тебя в Медиа-Луне среди батраков пара-другая головорезов?

— Не без того.

— Поедешь к Альдрете, возьмешь их на подмогу. Приедешь, составишь акт, что Альдрете посягал на чужую собственность, или еще что-нибудь придумаешь. И напомни ему, что Лукаса Парамо больше нет в живых, а со мной пойдут другие счета.

Небо все еще было ясное, лишь изредка набегали белые облачка. Но ветер, выметавший их с поднебесья, у земли загустевал в знойную духоту.

Он опять постучал в дверь

рукоятью хлыста, постучал уже просто так, для порядка, — он знал: без приказа Педро Парамо не откроют. «Что ни говори, — пробормотал он, подняв глаза, — все-таки черные банты — это неплохо придумано, красиво».

Дверь отворилась, и он переступил порог.

— Проходи, Фульгор. Как с Торибио Альдрете, улажено?

— Покончено, хозяин.

— Теперь на очереди Фрегосо. Пока что ничего предпринимать не надо. Сейчас мне не до того — по уши увяз в медовом месяце.

— У нас тут куда ни повернись

— эхо. Так по всей Комале и перекликается. В стенах пустых, что ли, оно так долго держится? А может, оно под камнями сидит. Идешь по улице, и вроде кто-то сзади тебя нагоняет. То скрип какой-то слышится, треск. А то чей-то смех. Только давнишний, будто смеются уже давно-давно, из последних сил. И голоса тоже ровно бы годами траченные. А все-таки слышно, каждый звук, каждый шорох. Но я думаю, придет день, и все стихнет.

Так говорила Дамиана Сиснерос, идя со мною по улицам Комалы.

— Как-то, много ночей подряд, мне все чудился праздничный шум.

Дай, думаю, схожу посмотрю, что там за веселье такое, что за дым столбом, раз у меня в Медиа-Луне слышно. Поближе подошла — на улицах ни души, пусто, вот как сейчас. А потом перестал он мне слышаться, этот праздник. И не диво. Человек устает от веселья. Вот оно и кончилось.

— Да, — заговорила снова Дамиана Сиснерос. — Эхо у нас по всему селению гуляет, так и перекликается. Я-то уж теперь не пугаюсь. Завоют собаки — ну и пускай себе воют. Пускай, я-то ведь знаю, тут на всю округу ни одного пса не осталось. Или, смотришь, ветер поднимется и пошел палую

листву носить с места на место. А откуда ей, палой листве-то, взяться, когда деревьев, сам видишь, ни одного нету? В прежнее время, верно, были деревья. Были. Кабы не было, на чем бы та листва выросла?

Только хуже всего — когда разговор послышится. Голоса ровно бы сквозь щелочку cedятся, а внятно, сразу угадаешь, кто говорит. Да вот сейчас хоть бы, шла к тебе, смотрю, похороны мне навстречу. Я и остановилась, прочитала тихонько «Отче наш». И тут женщина какая-то — она там вместе с другими была — ко мне подходит и говорит:

«Дамиана! Моли за меня Господа Бога, Дамиана!»

И шаль откинула. Батюшки! Да ведь это Сикстина, сестра моя.

«Как ты сюда попала?» — спрашиваю.

И только я это вымолвила, она от меня — прочь и спряталась среди женщин.

А ведь сестра-то моя, Сикстина, — ты, может, и не знаешь, — умерла, когда мне тринадцатый год шел. Старшая она у нас была, и всего росло нас братьев и сестер шестнадцать душ, вот и посчитай, сколько минуло лет с ее смерти. Выходит, она все еще по белу свету скитается? Вот я и говорю, не пугайся, Хуан Пресиано, если тебе что-то рядом послышится.

— А вас о моем приезде тоже мама предупредила? — спросил я.

— Нет, меня никто не предупреждал. Да, кстати, как твоя мать поживает?

— Мама умерла, — ответил я.

— Умерла? Такая молодая? Отчего?

— Не знаю. Скорей всего с тоски. Она все о чем-то вздыхала.

— Это плохо. Каждый вздох отрывает кусок жизни. Так-так. Стало быть, умерла она?

— Да. Я думал, вы знаете.

— Откуда мне знать? Уж сколько лет я ничего не знаю.

— А как же вам стало известно, что я здесь?

— ...

— Вы живая, Дамиана?

Дамиана, отвечайте!

Я вдруг увидел, что стою один посреди пустых улиц. Из зияющих оконных проемов тянулись к свету толстые стебли диких трав. Из-под обвалившейся обмазки глинобитных оград выглядывали искрошившиеся, размытые дождями необожженные кирпичи.

— Дамиана! — закричал я. — Дамиана Сиснерос!

«...Ана... нерос... — отозвалось эхо. — ...Ана... нерос!»

И, словно разбуженные моим криком, залаяли собаки. Я увидел бредущего по улице человека.

— Эй, ты! — окликнул я его.

— Эй, ты! — ответил он мне моим же голосом.

До моего слуха донесся женский говор. Мне почудилось, шепчутся где-то рядом, за углом.

— Гляди-ка, кто это там идет? Уж не Филотео ли Аречига?

— Он самый. Сделай вид, будто ты его не узнала.

— Пошли быстрее. Раз он за нами увязался, стало быть, понравились ему. Ишь как припустил. Интересно, за кем это он так гонится, за мной или за тобой?

— За тобой, конечно.

— А мне так сдается, что за тобой.

— Погоди, будет бежать-то, отстал он. Вон на углу остановился.

— Выходит, ни за кем он и не гнался, ни за мной, ни за тобой.

— А если бы погнался, тогда что? Что тогда?

— Очень мы ему нужны!

— А я тебе скажу, что так-то оно и лучше. Про него, знаешь, нехорошо говорят. Мне рассказывали, будто он для дона Педро девчонок заманивает. Так что считай, мы с тобой дешево отделались.

— Твоя правда. На этакое старикашку и взглянуть-то противно.

— Идем отсюда.

— Идем. От греха подальше.

Ночь. Глухая ночь. И опять

голоса.

— ...Но я же сказал, уродится нынче маис — выплачу тебе все сполна. А не уродится — будь другом, подожди, ты же не разоришься.

— Я с тебя не требую. Ты знаешь, я своему слову хозяин. Да земля-то не твоя. Ты чужой клин запахал. Где же тебе будет взять, чтобы со мной рассчитаться?

— Кто это выдумал, что земля не моя?

— Ходят разговоры, будто ты ее Педро Парамо продал.

— Да я его и в глаза не видал, твоего Педро Парамо. Земля эта моя испокон веку.

— Это ты так говоришь. А люди говорят, что весь этот участок его.

— Пусть они это мне скажут.

— Послушай, Галилео, я к тебе со всем моим уважением, ты же знаешь. Как-никак ты моей сестре муж. И ей за тобой как у Христа за пазухой, это всякий скажет. Но уж мне бы ты мог не врать. Продал землю, а теперь юлишь.

— Да говорю же тебе, никому я ее не продавал.

— Продавал не продавал, а это земля Педро Парамо. Стало быть, он так распорядился. Дон Фульгор к тебе не заезжал?

— Нет.

— Значит, завтра приедет. А не

завтра, так в другой день.

— Ничего он тут не добьется. Скорей уж порешим друг друга: либо он меня, либо я его.

— Ну что ж, зятек, когда так, — мир праху и да почиет в бозе, аминь! Раз ты сомневаешься.

— Ничего, шурин, еще увидимся. Ты обо мне не беспокойся. Зря, что ли, мать меня малого драла? У меня шкура дубленая, выдержит.

— Тогда до завтра. Передай сестре, что нынче я у вас ужинать не буду. Неохота мне потом говорить: «Мы с ним последний вечер вместе провели, у него дома».

— Ладно, передумаешь — возвращайся, оставим на твою долю.

Удаляющийся стук сапог,
затишающее звяканье.

— Я приеду за тобой завтра чуть свет, слышишь, Чона! У меня уже и мулы приготовлены.

— А что, как отец с горя помрет? Старый ведь он совсем... Никогда себе не прощу, если с ним по моей вине что случится. Одна я у него на свете. Кто без меня за ним присмотрит? Ни подать, ни убрать некому. И что тебе неймется? Увезу да увезу. Потерпи, недолго осталось. Папа не жилец.

— Прошлый год ты мне то же самое говорила. А после еще меня же и стала корить, что, мол, на рисковое

дело у меня пороху не хватает, но самой-то тебе, дескать, все опостылело, хоть сейчас в дорогу. Так вот, мулов я достал, дожидаются наготове. Едешь?

— Погоди, дай подумать.

— Знала бы ты, Чона, как ты мне нравишься! Нет больше моих сил терпеть! Едешь — хорошо, не едешь... все равно поедешь!

— Погоди, дай подумать. Могу я его бросить? Сам рассуди. Подождем уж, пока умрет. Ему недолго осталось. Тогда открыто с тобой уеду, не надо будет тайком увозить.

— Это ты еще прошлый год говорила.

— Ну и что?

— А то, что теперь я мулов нанял. Мулы дожидаются, ясно тебе! За тобой одной дело стало. А старик твой и без тебя обойдется, не пропадет. Ты красивая, молодая. Мало, что ли, сердобольных бабок кругом? Сыщется для него сиделка.

— Не могу я.

— Можешь.

— Не могу. Жалею я его, понимаешь? Отец ведь он мне, не кто-нибудь.

— Коли так, нечего и говорить. Поеду к Хулиане, сохнет по мне девка.

— Поезжай. Я тебя не держу.

— Так что? Приезжать завтра?

— Нет. Больше ко мне не

приезжай.

Шорохи. Чей-то говор. Неясные
шумы. Песня вдали.

Она платочек мне
подарила,
кайму слезами вышила...

Высоко, на фальцете, выводят
мелодию мужские голоса. Не знать
— скажешь, поют женщины.

Показались повозки.
Неторопливо шагают в упряжке
волы. Скрежещут по камням колеса.
Возчики плетутся, словно спят на
ходу.

«...Каждую ночь, перед

рассветом, дома содрогаются от грохота повозок, въезжающих со всех сторон в селение. Повозки верхом нагружены селитрой, початками маиса, скошенной травой. От скрипа колес звенят оконные стекла, будят заспавшихся. Обычно в этот час хозяйки уже успели развести в очагах огонь, и в воздухе пахнет свежееиспеченным хлебом. А иной раз бывает, что вдруг налетит гроза, зашумит дождь. Гляди-ка, да ведь это весна пришла. В тех краях, сынок, многое случается „вдруг“, ты скоро к этому привыкнешь».

Сонную тишину селения вдребезги разбивает грохот порожних

повозок. А минуту спустя их заглатывает темная ночная дорога. И снова мрак. Голоса мрака.

Я решил, что пора возвращаться. Чутье помогло мне отыскать уводившую вверх тропу, по которой я пришел сюда; она зияла, как рана, в кромешной черноте холмов.

Внезапно чья-то рука легла мне на плечо.

— Что вам здесь надо?

— Я хотел повидать... — Я чуть было не назвал имя, но запнулся. — Повидать отца, — выдавил я.

— Что же вы не входите?

Я вошел. Крыши над передней половиной дома не было — она обвалилась. Рухнувшие стропила.

Битая черепица. На уцелевшей половине я увидел мужчину и женщину.

— Вы умершие или живые? — спросил я.

Женщина улыбнулась. Мужчина строго взглянул на меня.

— Он пьян, — сказал мужчина.

— Нет, просто ему стало страшно, — заметила женщина.

На столе горела керосиновая лампа. Она освещала кровать из отате ^[2] и плетеный стул, на котором лежала женская одежда. Сама женщина стояла передо мной нагая, в чем мать родила. И мужчина тоже.

— Слышим, стонет кто-то, а потом головой о дверь колотить

начали. Смотрим — это вы.
Случилось с вами что?

— Со мной столько всего случилось, что сейчас мне лучше будет соснуть.

— Да и мы уже спали.

— Вот и давайте ляжем.

Ночь погасила мои
воспоминания.

Изредка до меня долетали обрывки слов. Странно, как это не похоже было на то, что я слышал прежде. Потому что прежде человеческие голоса доходили до меня беззвучно, они были немые; я воспринимал речь, но звучать она не звучала, — так бывает во сне.

— Кто он такой? — спрашивала женщина.

— Кто же его знает, — отвечал мужчина.

— Как он сюда попал?

— Кто его знает.

— Он вроде бы говорил что-то насчет своего отца.

— Это верно, насчет отца он что-то такое говорил.

— А может, он заблудился? Помнишь, как забрели к нам те? «Заблудились мы, — говорят, — где тут у вас дорога на „Край света?“» — а ты им сказал, что ни разу про такое место не слышал.

— Помню, помню. Дай поспать, ночь еще не кончилась.

— Ну да, светать скоро начнет. Я ведь с тобой нарочно разговариваю, хочу разбудить. Сам просил: подыми затемно. Вот я и подымаю! Вставай!

— А на кой ляд мне вставать?

— Я-то почему знаю? Ты мне с вечера наказывал: «Разбуди пораньше». А для чего, не сказал.

— Когда так, не мешай спать. Слышала, этот о чем просил? «Дайте, говорит, соснуть», ничего больше и сказать не смог. Пускай спит.

Голоса исчезают. Они гаснут внезапно, будто канули в воду. Пришел сон. Но вот опять:

— Пошевелился. Не иначе, проснется сейчас. Увидит, как мы с

тобой тут лежим, в расспросы пустится.

— А об чем ему нас расспрашивать?

— Об чем! Говорить-то ему нужно?

— Отвяжись. Не видишь, усталый он.

— С чего ты это взял?

— Да замолчи ты наконец! Вот баба!

— Гляди, опять повернулся. Смотри-ка ты, как ворочается. Будто на горячих угольях лежит. И со мной так же было, я это помню.

— Что еще с тобой было?

— А вот то самое.

— Что ты мелешь?

— Не пришло бы на память, так и не молола бы. А посмотрела, как он вертится с боку на бок, и вспомнилось. Я-то после первого раза с тобой тоже, вроде него, места себе не находила, и больно, и ругаю себя, все вместе.

— За что же ты себя ругала?

— А что поддалась. Я сразу тогда поняла, что худо мы с тобой сделали, хотя, может, ты это и не нарочно.

— Эва! Нашла про что вспоминать. Сама не спишь и мне спать не даешь!

— Ты же сам сказал, чтобы я тебя разбудила, вот я и бужу. Бог свидетель, как ты велел, так я и

делаю. Вставай, лежебока,
подымайся, пора уже!

— Сказано, дай поспать!

Мужчина, должно быть, уснул, а
женщина долго еще ворчала себе под
нос:

— Вроде бы светает. Совсем
развиднелось. Раз мне с кровати
приблудного этого видать, стало
быть, утро занимается, в темноте-то
не разглядишь. Скоро солнце встанет.
Да тут и думать нечего. Душегуб он,
не иначе как душегуб. А мы его в дом
пустили. Ну и что, что на одну ночь.
Спрятали, скажут. Потянут к ответу,
не оберешься хлопот... Ишь
крутится-то как. Не ложится ему.
Стало быть, есть из-за чего. Не

иначе, совесть замучила. Известно, нету злодейской душе покоя.

Рассветало... Рассвет. Он прогоняет тени, рассеивает их... От разгоряченных сном трех человеческих тел в комнате было душно и жарко. Сквозь смеженные веки я чувствовал разгорающуюся белизну утра.

— Вон как с боку на бок ворочается, — услышал я снова. — Скажи, черти его на адском огне поджаривают. А рожа-то, разбойник разбойником. Вставай, Донис! Ты погляди-ка, как его корежит, так по полу и катается, и слюна изо рта течет. Не одну душу, видать, загубил. Ты-то, растяпа, пустил ночевать, а

кто он, небось и сам не знаешь.

— Кто, кто! Бедняк горемычный.
Нет на тебя угомону! Спи и нам спать
не мешай!

— Спи! А как не спится!

— Ну так вставай и проваливай,
чтобы я тебя больше не слышал!

— Встаю, встаю. Пойду огонь
разведу. А этому скажу, пусть к тебе
на мое место ложится.

— Скажи.

— Нет, не скажу. Боюсь я его.

— Иди занимайся своим делом
и оставь нас в покое.

— Сейчас, погоди.

— Ну, долго ты еще?

— Иду, иду.

Я услышал, как женщина встала

с кровати. Ее босые ноги прошлепали по полу, перешагнули через мою голову. Я открыл глаза — и опять закрыл их.

Когда я проснулся, комнату заливало полуденное солнце. Подле меня стояла кружка кофе. Я сделал попытку выпить его, но отхлебнул только глотка два.

— Вы уж простите, и рады бы вас угостить, да больше нечем. В доме хоть шаром покати, самым есть нечего...

Голос был женский.

— Не беспокойтесь, — отозвался я. — Обо мне не беспокойтесь. Я привычный. А вот как мне отсюда выбраться?

— Это смотря куда.

— Мне все равно.

— От нас тут дороги во все концы. Есть на Контлу, а есть и в ту сторону. Эта вот — она вас прямехонько в горы выведет. А эта — сама не знаю, куда проложена. — И женщина показала пальцем вверх, в зияющий пролом кровли. — А сюда пойдете — дойдете до Медиа-Луны. И еще тут есть одна, наперерез остальных пролегает, самая дальняя.

— По ней-то, наверно, я сюда и пришел.

— Куда же она ведет?

— В Сайулу.

— Надо же! Я-то думала, Сайула вон где. Всю жизнь так считала. А

правду говорят, будто в Сайуле народу — тьма-тьмушая?

— Как везде.

— Подумайте-ка. А мы-то тут одни-одинешеньки! Иной раз тоска возьмет, хоть бы весточку получить, как люди-то на свете живут.

— А куда муж ваш пошел?

— Не муж он мне. Брат. Только не хочет, чтоб знали про это. Пошел куда? А тут где-то бычок одичалый бродит, вот он, верно, и пошел его искать. Так, по крайности, сказал.

— Давно вы тут поселились?

— Мы тут искони. Здесь и родились.

— Тогда вы, вероятно, знали Долорес Пресиано.

— Донис, может, и знал. А я редко когда людей вижу. Из дому не выхожу. В этих вот четырех стенах весь век свой провековала... Ну, может, и не весь век, а с тех пор, как он меня за жену себе взял. С той поры и сижу взаперти, боюсь людям на глаза показаться. Он мне не верит, а вот посмотрите на меня, страшная, да? — Она шагнула из темного угла на свет. — На лицо мое посмотрите.

Лицо было обыкновенное, как у всех.

— Ничего такого я у вас на лице не замечаю.

— А грех? Неужто греха не видите? Пятен трупных? Все тело у меня пятнами этими взялось, с

головы до ног! Это только снаружи. А нутро у меня грязью налито, мерзостью.

— Каких же вы людей боитесь, раз тут никого нет? Я всю Комалу обошел — ни души не встретил.

— Это вам так показалось. Там еще по сю пору живут. Филомено живет? Живет. И Доротеа. И Мелькиадес, и старик Пруденсио, и Состенес, да и все остальные. Разве не живут они там? Живут. А не видать их оттого, что все у себя в домах позапирались. Как они день проводят, я вам не скажу, а что по ночам сидят взаперти, это мне доподлинно известно. У нас тут в ночное время таких страхов

натерпишься! Как солнце закатится, привидения на улицы высыпают. Толпами целыми. Кому же охота с привидением встречаться. Тем более их тут — рать, а нас раз-два, и обчелся. Молиться бы за них надо, чтобы кончилась для них эта мука, но мы бросили: на всех так и так молитв наших не хватит, ну, придется на каждого по два словечка из «Отче наш» — разве этим спасешь? Да и дойдет ли наша молитва? Нету здесь между нами, живыми, ни одного, чтобы было ему даровано Господне прощение. Глаз от земли не подымаем, а подымешь — стыдом свет застит. Да только стыдом-то не спасешься. Это мне епископ

растолковал. Приезжал он сюда как-то на конфирмацию. Стала я перед ним, во всем исповедалась, а он мне:

«Нет твоему греху прощения», — говорит.

«Стыд меня заел», — отвечаю.

«Несть спасения во стыде».

«Обвенчайте нас, ваше преосвященство».

«Подите прочь».

Я ему хотела сказать, что не мы — сама жизнь нас связала: заперла вдвоем в одном углу, вот и слепила неволей вместе. Одни мы тут были, ни живой души вокруг. А от нас, глядишь, опять здесь народ пошел бы. «Приедете, говорю, в другой раз, и, может, будет уже кого

конфирмовать». А он свое:

«Разлучитесь. Ничего не могу вам больше посоветовать».

«А как же мы жить-то будем?»

«Как другие живут».

Тронул своего мула и поехал; лицо каменное, безжалостное; не оглянулся даже, словно не люди мы, а сам во плоти грех смертный. С тех пор и не приезжал. Оттого и бродят здесь по ночам непрощенные души. И ведь их тут несчетно, горемык этих, что без отпущения преставились. Маются, несчастные, а получить прощение от Господа возможности им нет никакой, мы же и подавно их грехов не отмолим. Вон он назад идет, слышите?

— Слышу.

— Его шаги. Дверь отворилась.

— Ну что, поймал? — спросила женщина.

— Нет, что-то не видать нынче. На след только напал. Зато теперь знаю наверное, где он хоронится. Ночью беспрерывно поймаю.

— Ночью? А меня, что же, одну оставишь?

— Может, и оставлю.

— Как же я одна-то буду? Я без тебя не могу. Целый день душеньке моей нет покоя, ночью лишь и отойдет, когда ты рядом.

— Мне за бычком нужно идти.

— А я сейчас только и узнал, — вступил я в разговор, — что вы брат и

сестра.

— Сейчас только? — переспросил он. — Я узнал гораздо раньше, да помалкиваю. Так что лучше вам в это дело не соваться. Мы не любим, когда про нас зря языками треплут.

— Я ведь это к тому, что понимаю, а не для чего другого.

— А что вы понимаете?

Она встала с ним рядом, обхватила его за плечи.

— Что вы такое понимаете? — повторила она вслед за ним.

— Ничего, — ответил я. — Теперь я уже почти ничего не понимаю. Мне хотелось бы, — добавил я, — вернуться в город,

откуда я пришел. Я хотел бы уйти, пока еще не свечерело.

— Куда вам торопиться, — остановил он меня. — Дождитесь утра. Скоро стемнеет, а дороги тут все кустарником заросли, долго ли в чащобе между скал заблудиться. Поутру я вас провожу.

— Спасибо.

Над отверстою кровлей проносились стаи дроздов — по вечерам эти птицы летают поздно: пока сгустившаяся темнота не перекроет небесные дороги. Потом в вышине проплыли измельченные ветром легкие облака, предвестники наступающей ночи. Засветилась

вечерняя звезда, а вслед за ней показался месяц.

Ни мужчины, ни женщины в комнате не было. Они вышли в ту дверь, что вела в патио, а когда вернулись, стало уже совсем темно. Они, конечно, не могли знать о том, что произошло в их отсутствие.

А произошло вот что.

Дверь с улицы отворилась, и на пороге появилась женщина: древняя, высохшая, как скелет, старуха. Войдя, она остановилась и обвела круглыми глазами комнату. Она, вероятно, меня заметила. И, вероятно, решила, что я сплю. Прямо от двери она направилась в угол, где стояла кровать, и вытащила из-под нее

обтянутую кожей укладку. Порывшись в ней, она сунула под мышку две-три простыни и вышла на цыпочках, словно боялась меня разбудить.

Я лежал, затаив дыхание, и старался смотреть в сторону. Потом я осторожно повернул голову и глянул вверх. Вечерняя звезда теперь сияла рядом с луной.

— Нате-ка, выпейте, — услышал я женский голос. Я не осмелился взглянуть на говорившую.

— Да пейте же! Сразу легче станет. Я вам отвару приготовила из апельсинового цвета. Это от страха у вас. Вон как вас колотит. Выпейте, страх и пройдет.

Я узнал ее руки, а подняв глаза, узнал и лицо. Мужчина стоял сзади.

— Заболели? — обратился он ко мне.

— Сам не знаю. Люди мне являются. И всякое другое. Вы, наверно, этого не видите. Сейчас только была тут какая-то старуха. Не повстречалась она вам, когда вы входили?

— Оставь его, — сказал мужчина. — Идем. У него, надо быть, божественное на уме.

— Давай положим его на кровать. Смотри, как его трясет, жар, поди, сделался.

— А ты поменьше на него гляди. Такие любят прикидываться, чтобы

все внимание только на них. В Медиа-Луне тоже один был, хвастался, судьбу, мол, умею отгадывать. А того не отгадал, что хозяин лучше его отгадчик и как дознается про его проделки, в расход пустит. Вот и этот, видать, такой же — божественный. Знаю я этих «птиц небесных», кочуют весь век из деревни в деревню, не сеют, не жнут, а сыты бывают. Только ведь у нас тут не то что сытому быть, коркой хлеба и той не разживется. Ты погляди, перестал дрожать-то: к разговору прислушивается.

Время словно бы потекло вспять. Я вновь увидел рядом с месяцем вечернюю звезду. Разошлись

легкие облака. Пролетели стаи дроздов. Над головой у меня опять засияло непогасшее предвечернее небо.

На стенах домов играли отсветы дня. По камням мостовой гулко звучали мои шаги. «Разыщите донью Эдувихес, — наставлял меня погонщик. — Если только она жива».

Потом — внезапная темнота. Я лежу в комнате. Рядом со мной на постели храпит женщина. Ее дыхание неровно, будто она только что задремала или притворяется, что храпит. Кровать — из отате; от слежавшихся тюфяков разит мочой, похоже, что их даже проветривать никогда не выносили. Вместо

подушки — мешок из грубой саржи, набитый паклей, нет, пожалуй, шерстью, которая так свалялась и пропиталась потом, что кажется — голова лежит на полене.

Голые ноги женщины касаются моих колен, я чувствую на своем лице ее дыхание. Упершись рукой в подушку, — право, необожженный кирпич был бы мягче, — сажусь на постели.

— Вы не спите? — спрашивает женщина.

— Не могу уснуть. Я ведь весь день проспал. А где ваш брат?

— Пошел по своим делам. Вы же слышали, куда он собирался. Нынешнюю ночь он вряд ли

вернется.

— Значит, ушел все-таки? Но ведь вы просили его остаться?

— Ушел. И, может, навсегда. Все они так уходили. Мне надо туда, мне надо сюда. Надо, надо, а уйдут — поминай как звали: больно далеко, видать, уходят. Он это давно задумал. А пришли вы, он и решил, что настал его час. Да, так оно, наверно, и есть: обманом кинул меня на вас, чтобы теперь вы обо мне заботу на себя взяли. Не упустил своего случая. А насчет бычка, это — чтобы глаза отвести. Попомните мое слово — не вернется он.

Я хочу ей сказать, что меня мутит, что я выйду подышать на

воздух, но вместо этого я почему-то говорю:

— Не волнуйтесь. Вернется.

Я поднимаюсь.

— А я вам поесть приготовила, — сообщает она, — в кухне стоит, на очаге. Немного там, да все голод не так будет мучить.

Действительно, в кухне я нахожу кусок копченого мяса и две-три лепешки, оставленные на теплой золе очага.

— Больше ничего не смогла для вас раздобыть, — доносится из комнаты ее голос. — Да и это выменяла у сестры на простыни, которые мне еще от матери достались, совсем новые были. Вот

она за ними и приходила. Я при
Донисе не хотела говорить, что
старуха эта, которой вы так
испугались, сестра моя была.

Черное, усыпанное звездами
небо. И ярче всех — звезда рядом с
месяцем.

— Ты меня слышишь? —
спросил я тихо.

И ее голос ответил:

— Где ты?

— Я здесь, на твоей родине.
Среди людей, окружавших тебя в
юности. Ты меня видишь?

— Нет, сынок, я не вижу тебя.

Голос ее обнимал всю землю,
терялся в бесконечности

мироздания.

Я воротился в комнату под крышей. Туда, где спала женщина.

— Я лягу на полу, на своем вчерашнем месте, — сказал я. — На кровати у вас ничуть не мягче. Если вам что понадобится, позовите меня.

— Донис больше не вернется, — откликнулась она. — По глазам было видно. Он только и дожидался кого-нибудь, чтобы бросить меня. Теперь обо мне будешь заботиться ты. Или, может, тебе неохота обо мне заботиться? Поди сюда, ляг со мной.

— Мне и тут хорошо.

— Ложись лучше на кровать. На полу тебя заедят тараканы.

Я поднялся с пола и лег к ней.

Проснулся я в середине ночи от невыносимой жары. Я лежал весь в поту. Тело женщины — прах земной, обросший коростою праха, — растекалось, готовое обратиться в лужицу грязи. Я плыл, захлебываясь в ее поту. У меня спирало дыхание. Воздуха не хватало. Я сделал усилие и выбрался из постели. Женщина спала. Дыхание клокотало у нее в горле, словно предсмертный хрип.

Я вышел на улицу, надеясь, что ночная прохлада освежит меня. Но ощущение нестерпимого жара не проходило.

Дышать было нечем: не было ни капли воздуха — только зной и

оцепенение августовской ночи, отяжелевшей от жаркого сна.

Дышать было нечем. Я глотал тот же воздух, который только что выдохнул, а чтобы он не рассеивался, удерживал его руками у самого рта. Дыхание щекотало мне ладони. Но с каждым разом воздуха становилось все меньше, наконец последняя тоненькая струйка просочилась между моих пальцев и отлетела прочь.

Навсегда.

Мне помнится, над головой у меня взвихрились клубящиеся облака, они закружили меня, обхватили своим туманом, и я потонул в их пенистой мгле. Это

было последнее, что я видел.

— Ты говоришь, что умер от удушья, Хуан Пресиадо? Но ведь мы нашли тебя на площади, далеко от дома, где живет Донис. А сам Донис стоял рядом со мной и твердил, что ты просто прикинулся мертвым. Потом мы с ним подняли тебя и втащили в галерею, ты уже был зачоченелый, тело скрючено, лицо перекошено, — так бывает, если человек умер от страха. Ты говоришь, в ту ночь нечем было дышать. Но тогда бы и у нас не хватило сил тащить тебя, а похоронить — и подавно. А видишь, мы же тебя похоронили.

— Ты прав, Доротео. Ты ведь сказал, тебя зовут Доротео?

— Какая разница. По правде-то, звать меня Доротеа. Ну, да это все едино.

— Ты права, Доротеа. Шепот — вот что убило меня. Шепот неведомых голосов.

«...Там ты увидишь все, что я любила, все, что было мило мне в жизни. Мой родимый край. Какие сны мне там снились, какие мечты наполняли тоской мое сердце! Селение наше раскинулось на высоком холме над равниной, оно все утопает в зелени, и листва его садов манит к себе серебряным звоном, словно копилка, хранящая твои

самые заветные воспоминания. Ты придешь туда и скажешь себе: вот место, где мне бы хотелось остаться навеки. Там всегда хорошо. Рассвет там сегодня такой же, как был вчера, и утро такое же, и такой же полдень, и вечер. Только дышится по-разному — оттого что другим становится воздух, и вместе с воздухом меняется цвет предметов. Жизнь там течет, нашептывая тебе свою быль, и ты вслушиваешься в нее, вслушиваешься и уже ничего не слышишь, кроме этого немолчного, извечного шепота жизни...»

— Да, Доротеа, меня убил шепот. Но сначала меня обуял страх;

я чувствовал, что он одолевает меня, и не в силах был совладать с ним. А потом начался шепот. И я не выдержал.

Ты сказала правду, я шел к площади. Я шел на гомон толпы, мне чудилось, где-то там, впереди, шумит народ. Я был как в тумане; помнится, я хватался за стены домов, чтобы не упасть, у меня было чувство, будто я иду на руках. А стены все время что-то шептали мне, они источали шепот! Он сочился изо всех щелей, из каждой трещины в готовой отвалиться штукатурке. Это были человеческие голоса, и я силился разобрать, о чем они шепчут, но они звучали чересчур тихо, невнятно —

так долетают до тебя чьи-то оброненные мимоходом слова; минутами мне казалось, что у меня просто звенит в ушах. Я перестал опираться о стены и пошел посреди улицы, но голоса не отставали, я слышал их рядом, и у себя за спиной, и где-то впереди. Жара я больше не чувствовал, наоборот, мне стало холодно. Как только я вышел из дома женщины, разделившей со мной свое ложе, — я уже рассказывал, что она у меня на глазах начала растекаться грязью, смешанной с потом, — как только я вышел, меня охватил холод, и чем дальше я шел, тем этот холод крепче обнимал меня, по всему телу у меня пошла гусиная кожа. Я

закоченел и уже хотел было повернуть назад, туда, где мне только что было так жарко: мне казалось, там я сразу согреюсь. Но, пройдя еще несколько шагов, я вдруг понял, что источник холода во мне самом, — это стынет кровь в моих жилах. И еще я понял, что это от страха. Гомон на площади сделался громче, и у меня вспыхнула надежда: на людях страх мой пройдет. Потому-то вы и нашли меня на площади. Значит, все-таки Донис вернулся? А та женщина была уверена, что уже никогда его не увидит...

— Мы набрали на тебя утром. Откуда там взялся Донис — не знаю. Я его не спрашивала.

— Я вышел на площадь, к галерее торговых рядов, и прислонился к столбу. Кругом не видно было ни души, а гам стоял такой, будто площадь кипит народом, как в базарный день. Ни голосов отдельных, ни слов я не различал, все смешивалось в один слитный ропот, — так бывает ночью, когда ветер шарит в ветвях деревьев: ни ветвей, ни самих деревьев не видно, только слышно шум. И я там остался. А гомон на площади вдруг уплотнился, приблизился и пчелиным роем загудел мне в уши. Я даже разобрал несколько отчетливо прорвавшихся слов: «Моли за нас Господа Бога». Слова были обращены

ко мне. Ледяной ужас сковал мою душу. Вот почему вы нашли меня мертвым.

— Зря ты сюда приехал. Лучше бы сидел дома.

— Я же тебе сказал: я хотел увидеть Педро Парамо. Как-никак — мой отец. Меня заманила сюда пустая мечта. Морок.

— То-то и оно, что морок. Только больно уж дорого он обходится. Я тоже за него тяжкую цену заплатила: прожила на свете больше, чем положено. Все долг свой выплачивала. За сыночка. Дитя, видишь, я заимела, а потом вышло, что его и не было вовсе, морок один был, мечтание. Не было, не было у

меня никакого сына. Теперь, после смерти, времени вдоволь, и обдумать все можно и понять. Мне ведь при жизни Господь крыши над головой и той не дал, чтобы было где ребеночка вырастить. На одно только не поспешил: век дал мне долгий, до того долгий, что уж и не знала, когда конца дождусь. Всю жизнь носило меня, бесприютную, как по ветру сухой лист, и горемычные мои глаза так, бывало, и косят по сторонам, высматривают; мерещилось мне: украли у меня люди мое дитя и спрятали. А все из-за проклятого моего земного сна. Два сна у меня было: один — земной, а другой — небесный. Первый раз привиделось

мне, будто дитя у меня и я его нянчу. Все годы, что жила я на белом свете, верила свято, что так оно и было. Ведь на руках я его держала, тельце мягкое, теплое, и ручки пухленькие, и губки цветочком, и глазки — все как есть. Сколько лет потом чудилось — вот сейчас только пальцами по сонным ресничкам его гладила, сердечко его под ладонью у меня билось. Как же не поверить, что в яви все это было? Ведь не расставалась же я с дитятей моим ни на миг, куда ни пойду, его с собой беру, запеленаю в шаль и несу. И вдруг нет его! А на небе сказали, что, мол, вышла со мной ошибка: дали мне сердце материнское, а лоно

неродящее. Перепутали. Это и был второй мой сон. Явилась я на небо и смотрю, нет ли моего сыночка между ангелами, может, признаю. Все глаза проглядела. Нет, не нашла. Ангелы-то все на одно лицо, друг от дружки не отличишь. Стала я спрашивать. Подходит тут ко мне божий святой угодник и, ни слова не молвя, руку мне под дых как сунет; и вот диво, будто не в меня рука вошла — в мягкий воск. Вытащил ее обратно и показывает мне — не разберу и что — похоже на скорлупку ореховую. «Это, говорит, удостоверение твоей „особи“».

Они там, знаешь, на небесах чудно разговаривают; но ничего,

понять можно. И только это я рот открыла, растолковать, желудок, мол, это мой, от голода усохший, ведь за всю жизнь ни разу я досыта не поела, — да где там, другой угодник какой-то за плечи меня хватать — и к воротам: вон выталкивает. «Поди, говорит, дочь моя, вкуси еще земного блаженства да постарайся жить, как Бог велел, чистилище быстрее отбудешь».

Это вот и был небесный мой сон. Из него мне одно стало ясно, что не было у меня сына. Но поздно я про это узнала, когда уж вовсе ветхая сделалась, и тело начало в землю расти, и ноги отнялись. Беда не ходит одна; селение наше опустело, люди

разбредись по чужим краям. А людей не стало, не стало и милостыни — я ведь только подаванием и жила. Села я и стала ждать смерти. А нашли мы тебя, вот и мои косточки на покой улеглись. Меня, думаю, и не заметит никто. Кому я тут помешаю? Сам видишь, и земли-то на меня не ушло ни горсточки. Закопали с тобой в одну могилку, и места лишнего не заняла, вся между твоими сложенными руками уместилась, как в уголке прикорнула. Но только сдается мне, что не ты меня, а я тебя должна бы на руках держать. Чу! На земле, никак, дождь идет. Так и барабанит, слышишь?

— А мне кажется, топочет кто-

то над нами.

— Не бойся. Теперь тебе уже никто не страшен. Старайся думать о приятном, нам в этой могиле долго лежать.

На рассвете упали на землю первые тяжелые капли дождя. Они гулко впечатывались в рассыпчатые, сухие борозды пашен. Низко-низко, чуть не задевая крыльями землю, пролетел пересмешник и заплакал, словно младенец в колыбели, отлетел подальше и застонал, будто человек усталую разогнул спину, и уж совсем издали, улета к светлеющему краю неба, гикнул, захохотал и на прощанье застонал снова.

Фульгор Седано почуял запах

мокрой земли; вышел поглядеть, как изливается на пашни плодотворящая влага. Глазки Фульгора засветились от удовольствия. С наслаждением, раз, и другой, и третий втянул в себя дорогой сердцу запах; осклабился.

— Гляди-ка ты! И этот год опять добрый будет. — Помолчал и добавил: — Припусти, дождик, припусти! Лейся, пока не устанешь. А после еще в ту вон сторону поверни, глянь, сколько мы нынче земли подняли — для тебя старались, чтобы было тебе где погулять, развеселиться.

Рассмеялся даже.

А пересмешник, облетев из конца в конец бескрайние поля,

вернулся к жилью и с надрывным воплем пронесся мимо Фульгора.

Вода хлынула стеной, и небо, только что посветлевшее у черты горизонта, опять заволоклось хмарью, а отступивший было сумрак надвинулся еще гуще.

Громко заскрипело мокрое от непогоды железо — растворились широкие ворота Медиа-Луны. Со двора верхом на лошадях выезжали попарно объездчики, двести человек; за воротами, в укрытых дождем полях, они повернули в разные стороны.

— Стада из Энмедио перегнать на дальние пастбища, за прежние земли Эстагуа. А скот, что пасся в

Эстагуа, гоните на холмы
Вильмайо, — наказывал
отъезжающим Фульгор. —
Пошевеливайтесь, ребята, идет
большая вода, она ждать не будет.

Под конец он так устал
повторять одно и то же, что
последние всадники слышали
только: «Отсюда туда, а оттуда к
холмам». И каждый поднимал руку к
полям сомбреро в знак того, что
приказ услышан и понят.

Не успел еще последний
работник отъехать от ворот, как во
двор, не осадив коня, галопом влетел
Мигель Парамо. Спрыгнул с седла на
всем скаку, чуть не отдавив ноги
Фульгору. Жеребца пустил на волю:

сам стойло знает.

— Откуда в такую рань, а?

— Телушку ездил доить.

— Что еще за телушку?

— А ты догадайся.

— И догадываться нечего. К Доротее ездил, к кому же еще. Одной ей сосунки нравятся.

— Ну и дурак. Хотя в дурости твоей, конечно, не тебя винить надо.

Повернулся и пошел на кухню завтракать; шпоры снять не подумал.

У плиты хлопотала Дамиана Сиснерос.

— Откуда ты это ни свет ни заря? — задала она ему тот же вопрос, что и Фульгор.

— Все оттуда. По кумушкам

ездил, язык чесал.

— Ты не сердись, Мигель, я ведь спроста, ты уж меня прости. Будешь яичницу есть?

— Хоть яичницу, хоть всмятку яйца — мне все равно.

— Я же с тобой по-хорошему, Мигель.

— Ладно, Дамиана, это я так, не со зла. Слушай, ты Доротею знаешь, ну, эту, которую Детиной Тоской прозвали?

— Знаю. Поговорить с ней хочешь? Она вон за той дверью сидит, в патио. Приходит каждый день спозаранок, мы ей поесть выносим. Чудачка она, сделала себе куклу из тряпок, в шаль запеленала и

таскает с собой, баюкает, — дескать, ребеночек это ее. Видать, приключилось у ней горе в давние годы, но наверное не скажу: сама она не рассказывает, и знать про нее никто ничего не знает. А живет подаянием.

— Проклятый старикашка! Ну погоди ж, я тебя дойму, такую сыграю штуку с тобой, света белого невзвидишь.

И Мигель задумался, соображая, не может ли ему помочь эта нищая. Придя, как видно, к мысли, что может, он распахнул черную дверь кухни.

— Поди-ка сюда, — поманил он Доротею. — У меня есть к тебе одно

дельце.

Кто знает, о каком «дельце» толковал с ней Мигель, но, вернувшись на кухню, он довольно потирал руки.

— Ну-ка, гони сюда твою яичницу! — крикнул он Дамиане и добавил: — С нынешнего дня будешь подавать Доротее то же, что мне. Ничего, переживешь. Она нас не объест.

А Фульгор Седано обходил закрома, смотрел, много ли еще осталось маиса. До нового урожая не близко, по правде сказать, только-только отсеялись. «Хватит ли прошлогодних запасов?» — тревожился Фульгор. Потом — и сам

не заметил как — мысли перекинулись на Мигеля. «Беда с этим парнем. Весь в отца. Да что-то очень уж резво взял с места. При такой прыти и шею сломать недолго. А теперь, похоже, еще и убил кого-то, вчера люди приехали — его обвиняли. Забыл ему сказать. Если так дальше пойдет...»

Вздохнул и только было захотел представить, где теперь скачут посланные к стадам объездчики, как на глаза попался рыжий жеребчик Мигеля. Конь осторожно чесал морду об усаженный шипами верх глинобитной ограды. «Не расседлал даже, — осуждающе подумал Фульгор. — И не расседлает. Дон

Педро тот хоть ценить умеет, кого ему нужно; на него иной раз и добрый стих найдет. Зря он Мигелю спускает, зря. Рассказываю ему вчера, что его сынок выкинул, а он мне: „Считай, Фульгор, что это я сделал. Человека убить! Для этого, брат, силенка нужна. Где ему, мальчишке, — кишка тонка. Да и мало тут кишки, тут надо, чтобы в груди вместо сердца кремьень был, да здоровый, вот этакий, — и руками размахнул, будто неохватный валун обнять хочет. — А если есть за ним какой грех, ты его на мой счет запиши“. — „Набедуетесь вы с Мигелем, дон Педро. Задирист больно, чуть что — в драку“. —

„Ничего, пусть его порезвится. Молодо-зелено. Сколько ему стукнуло? Семнадцать, так, что ли? А, Фульгор?“ — „Да. Наверно. Кажется, вчера это было: принесли его вам новорожденного... Все бы ничего, да чересчур уж он норовист и жить слишком торопится, будто само время обскакать хочет. Не проиграть бы ему этой скачки. Помяните мое слово“. — „Полно, Фульгор. Ребенок он, какой с него спрос“. — „Воля ваша, дон Педро. Но женщина эта, которая тут вчера на Мигеля доказывала, что он убил ее мужа, — посмотрели бы вы, как она плакала. Такая ни перед чем не остановится, до отчаянности дошла. А я, дон

Педро, отчаянность в человеке на выстрел вижу, и женщина эта, скажу вам, была как бомба, начиненная динамитом, не подходит — разорвет. Я ей отступного предложил, давал пятьдесят гектолитров маиса. Не взяла. Что же, говорю, в таком случае иначе как-нибудь возместим вам потерю. Но она и слушать не стала“. — „А кто был ее муж?“ — „Не знаю. Какие-то незнакомые люди“. — „Ну так считай, что их и нету. Выбрось это дело из головы“».

Фульгор осматривал закрома. От маиса шел теплый дух. Управляющий зачерпнул пригоршню зерен. Чистое зерно, долгоносиком не порченное. Прикинул запасы на глаз,

успокоился. «Хватит. Травы сейчас быстро пойдут в рост, скотину подкармливать не надо будет. Еще и останется».

Уходя, взглянул на небо, темное от дождевых туч. «Теперь зарядит надолго». Эта мысль заслонила все остальные.

— Погода на земле, должно быть, переменялась. Мать мне рассказывала: стоит только у вас тут пролиться дождю, все кругом так и засверкает, в воздухе запахнет распускающимися ночками... Темные тучи накатываются и клубятся, как волны прилива, и вдруг обрушиваются на землю, а когда

схлынет непроглядная хлябь, земля вся будто заново рожденная... Мама... Она ведь и детство, и все лучшие свои годы провела здесь. Но даже перед смертью не смогла она вернуться в родные места. Оттого и послала меня сюда. А я, Доротеа, — не странно ли? — и неба здесь не увидел. Жаль, оно ведь, наверно, такое же, как было при матери.

— Не знаю, Хуан Пресиадо. Я уже столько лет не поднимала глаз от земли, что и забыла, какое оно, небо-то. Да и подняла бы — что толку. Небо высоко, а глаза у меня совсем ослабели, и тому рада была, что хоть землю-то под ногами вижу. И тут еще падре Рентериа мне наверное сказал,

что не знать мне небесного блаженства, издали и то к царству Божию меня не подпустят. Ну, когда так, думаю, что на него и смотреть-то, на небо... Верно, грех мой был великий, а все не след бы священнику мне про то говорить. И так-то всю жизнь маешься, одной только надеждой себя поддерживаешь, что хоть на том свете дадут другой, лучшей жизни отведасть. А вот как захлопнут перед тобой двери в другую-то жизнь, и только одна для тебя дверь открыта — в ад кремешный, — нет, лучше и не родиться... Для меня, Хуан Пресиано, блаженство небесное там, где косточки мои теперь отдыхают.

— А с душой как же? Куда она-то, по-твоему, девалась?

— По земле где-нибудь скитается. Мало ли неприкаянных вроде нее. Ищет среди живых, кто бы ее грех отмолил. Поди, ненавидит меня, что так с ней нехорошо обошлась. Только мне это все равно, я об ней не печалюсь. Истерзала она меня угрызениями совести, а теперь мне покойно, отдохнула я от этой муки. Каждую корку, что доставалась мне, ядом она отравила, по ночам спать не давала, страхов, мыслей черных нагонит, и все мне грешники видятся, как они в огне вечном горят, ну и другое такое. А вот села я смерти ждать, она меня умолять

стала, вставай, мол, иди, цепляйся за жизнь, тяни лямку дальше, словно все еще надеялась, что чудо какое случится, очистит меня от тяжелой моей вины. Но я и с места не двинулась. «Конец моей дороге, — говорю. — Нет больше моих сил». И рот открыла, пусть отлетает. Она и отлетела. Я это по тому узнала, что брызнула мне на руки ниточка крови, какой она была к моему сердцу привязана.

В дверь к нему постучали, но он не отозвался. Он услышал, что стучат не только к нему, колотили во все двери: будили людей. Бежавший к воротам Фульгор — он узнал его по

топоту сапог — вдруг остановился: вероятно, хотел вернуться, постучать снова, но раздумал и побежал дальше.

Приглушенные голоса. Шарканье тяжело и осторожно переставляемых ног, словно тащили что-то грузное. Еще какие-то неопределенные звуки.

Вспыхнуло воспоминание о смерти отца. Тогда тоже кончалась ночь. Только дверь была распахнута настежь. И вот так же чуть брезжил печальный, пепельно-серый свет. А у дверей, прислонясь к притолоке, стояла женщина. Его мать, о которой он редко вспоминал и почти никогда не думал. «Отца убили!» —

сдерживая плач, проговорила она. Ломкий, рвущийся клочьями голос, кое-как связанный тонкой нитью всхлипываний.

Он не любил возвращаться к этому воспоминанию: за ним вырывались на волю другие, они сыпались, как зерно из лопнувшего мешка, — попробуй заткни дыру. Убийство отца потянуло за собой еще и еще убийства, и в лице каждого из убитых чудилось ему то, первое, отцовское, изуродованное до неузнаваемости, — один глаз выбит, в другом застыло выражение мстительной злобы. И опять, опять были убитые, пока воспоминание о смерти отца не стерлось начисто,

потому что не осталось никого, кто мог бы напомнить о ней.

— Здесь кладите! Не так, не так. Голову туда. Эй ты, ворон считаешь?

Говорили вполголоса.

— Тише вы. Хозяин-то спит. Еще разбудите.

А он уже стоял во весь свой огромный рост в дверях и смотрел, как они суеются, укладывая на кровать что-то длинное, завернутое в старые мешки, похожее на спеленатого саваном мертвеца.

— Кто это? — спросил он.

Фульгор Седано приблизился к нему:

— Это Мигель.

— Что с ним сделали? —

выкрикнул он.

Он думал, что услышит: «Его убили». У него заходили желваки на скулах, предвестники грозы. Но его поразила тон Фульгора.

— На Мигеля никто не нападал, дон Педро, — тихо произнес управляющий. — Он убился. Сам.

Мелькали, разгоняя тьму, язычки керосиновых коптилок.

— ...Конь его сбросил, — дерзнул пояснить чей-то голос.

Тюфяк с кровати скинули; Мигеля положили на голые доски; веревки, которыми тело было перевязано, чтобы донести до места, размотали, и руки мертвеца сложили на груди, а лицо прикрыли лоскутом

черной ткани.

— Живой-то он вроде не такой рослый был, — пробормотал Фульгор.

Педро Парамо смотрел перед собой отсутствующими глазами, лицо его не выражало никаких чувств. Безо всякой связи друг с другом и, как казалось ему, где-то над ним и независимо от него пробегали разорванные, суматошные мысли.

— Вот оно и начало расплаты, — проговорил он. — Что ж, чем раньше взыщут, тем скорей расквитаешься.

Горя он не испытывал.

И когда Педро Парамо

благодарил за участие собравшуюся в патио челядь, голос его звучал громко и твердо, без труда перекрывая всхлипывания женщин.

Он не попытался приглушить его, не смягчил обычной резкости выражений. Потом наступила тишина, и в густых предрассветных сумерках стало слышно, как бьет копытами о землю рыжий жеребец Мигеля.

— Распорядись утром, пусть его пристрелят. Зачем скотине зря маяться, — приказал он Фульгору.

— Слушаюсь, дон Педро. Я его понимаю. Тоскует, бедняга, чувствует свою вину.

— Я его тоже понимаю,

Фульгор. Скажи, кстати, этим бабам, чтобы перестали выть. Что-то чересчур они разливаются по моему сыну. Был бы он их, небось не рыдали бы с таким удовольствием.

Много лет, вероятно, вспоминал потом падре Рентерия ту бессонную ночь. Он долго ворочался, не смыкая глаз, на своем жестком ложе, пока, вконец измучившись, не встал и не вышел на улицу. Это было в ночь после гибели Мигеля Парамо.

Он шагал по безлюдным улицам Комалы, и псы, рывшиеся в отбросах, шарахались в сторону, слышав его шаги. Выйдя к реке, он остановился и стал глядеть на отражение

падающих звезд в тихом зеркале заводов. Час проходил за часом, а он все еще пытался побороть одолевавшие его мысли, утопить их в черной воде реки.

«Всему причиною то, — размышлял он, — что Педро Парамо, обретавшийся прежде в ничтожестве, сделался нежданно-негаданно важной фигурой. Тогда-то и заросла его душа плевелами. Но самое скверное то, что я во всем ему потворствовал. „Каюсь, падре, спала прошлую ночь с Педро Парамо“. „Каюсь, падре, прижила ребенка от Педро Парамо“. „Каюсь, падре, отдала Педро Парамо свою дочь“. А я все ждал и ждал, когда же он сам

придет ко мне и скажет: „Каюсь, падре“. Но он так и не пришел. А теперь через посредство сына дань его мерзостей простерлась и того далее. Одному Господу ведомо, почему признал он его сыном, единственного из всех своих детей. Мне же известно доподлинно только то, что это орудие зла вложил ему в руки я сам».

Падре хорошо помнил тот день, когда он принес новорожденного хозяину Медиа-Луны.

— Дон Педро, — сказал он ему. — Его мать умерла в родах. Она призналась мне, что это ваш сын. Возьмите же его.

Дон Педро и не подумал

усомниться в словах умершей, только спросил:

— А почему бы вам не оставить его у себя, падре? Вырастили бы священника.

— Зная, какая кровь течет в его жилах, я не хочу брать на себя подобной ответственности.

— А вы всерьез считаете, что у меня такая дурная кровь?

— Да, дон Педро, считаю.

— Я докажу вам, что вы ошибаетесь. Оставьте его здесь. У меня найдется, кому за ним присмотреть.

— Именно это я и имел в виду. Здесь у него, по крайней мере, будет крыша над головой.

Младенец корчился, извивался, будто змееныш.

— Дамиана! Займись-ка им! Это мой сын. Потом он откупорил бутылку.

— Пью за покойную и за ваше здоровье.

— А за него?

— Что ж, можно и за него.

Он налил вторую рюмку, и они выпили вместе за счастливое будущее новорожденного.

Вот как это было.

Проехали первые повозки в сторону Медиа-Луны. Священник пригнулся за высокими камнями, лежавшими вдоль берега. «От кого прячешься?» — спросил он самого

себя.

— Счастливо оставаться, падре! — донесся до него чей-то возглас.

Он выпрямился.

— Счастливого пути! Да благословит тебя Господь.

В селении гасли огни. Река расцветилась переливами пламени.

— Что, падре, разве уже прозвонили утренний благовест? — полюбопытствовал другой возчик.

— Час благовеста давно минул, — отозвался он и двинулся в сторону, противоположную той, куда они ехали, твердо решив не возвращаться с полдороги.

— К кому так рано собрались,

падре?

— Кто умирает, падре?

— Видно, в Контле вас мертвец дожидается? Да, падре?

Ему хотелось крикнуть им: «Мертвец — это я. Я — мертвец!» Но он только усмехнулся.

Выйдя из селения, священник ускорил шаги. Домой он возвратился поздним утром.

— Где вы были, дядя? — спросила племянница Ана. — Вас тут все утро женщины спрашивали, приходили на исповедь. Ведь завтра первая пятница.

— Я буду исповедовать вечером.

Он устало опустил на деревянную, без спинки скамью в

галерее и несколько времени сидел не двигаясь.

— Что-то свежо нынче, Ана? Не кажется тебе?

— Сегодня жарко, дядя.

— А я зябну.

Нет, только не думать, только не вспоминать, как он ходил на рассвете в Контлу, чтобы принести общее исповедание своих грехов тамошнему священнику: тот не внял ни мольбам, ни оправданиям и отпущения не дал.

— Человек этот, чьего имени ты не хочешь назвать, разорил храм Божий, тебе вверенный, и ты попустил сие надругательство. Каких же благих дел возможно ждать от тебя, падре? На что употребил ты

силу и власть Христову? Во грехе несть добра. Чтобы искоренить грех, потребен дух твердый и непреклонный. Хочу надеяться, что прихожане твои не отпали от веры. Но ты не поддерживаешь их веру: они молятся Богу из суеверия и страха. Я желал бы разделить с тобой все тяготы твоей бедности, облегчить повседневные заботы и обязанности, налагаемые твоим саном, ибо мне ведомо, сколь нелегко священнику исполнять свой долг в нашем нищем краю. Именно это дает мне право сказать тебе, что не должно отдавать церковь во власть тех, кто за жалкую мзду хочет купить нашу совесть. Если ты предаешь душу свою в руки

их, как можешь ты быть добродетельней твоей паствы? Воистину, паства добродетельнее тебя. Нет, падре: мои помыслы не настолько чисты, чтобы я мог дать тебе отпущение. Обратись к иным исповедникам, нежели я.

— Вы хотите сказать, ваше преподобие, что я должен поехать к епископу?

— Должен, да. Ибо как можешь ты разрешать, когда сам живешь во грехе?

— А если у меня отнимут приход?

— Что же, это было бы заслуженной карой. Но не нам с тобой об этом судить.

— И все-таки не смогли бы вы?..
Временно, как бы... Мне ведь
исповедовать... Давать причастие
умирающим... Столько народа
умирает у нас в селении. Ваше
преподобие...

— Умерших, падре, предоставь
судить Господу.

— Стало быть, вы не дадите мне
отпущения?

И священник прихода Контлы
ответил, что не может этого сделать.

Потом они прогуливались
вместе по затененным азиями
галереям церковного двора. Хозяин
пригласил гостя присесть под
навесом, увитым виноградными
лозами. Над их головами висели

поспевающие гроздья.

— Он кислый, падре, — упредил хозяин вопрос падре Рентериа. — В нашем краю, благодарение Господу, все хорошо родится, но у всех плодов кислый привкус. Так уж, видно, суждено свыше.

— Истинная правда, ваше преподобие. Я пробовал разводить виноград у нас в Комале. Безуспешно. Он не принимается. Мирты и апельсины растут, это верно. Но плоды и у тех и у других — горькие. Сладкого я и вкус позабыл. А помните, в семинарии какие превосходные вызревали у нас гуаябы? А какие персики? А мандарины? Сожмешь слегка в

пальцах — кожура сама лопается. Я, когда ехал сюда, взял с собой семян. Немного, правда, маленький мешочек. А потом все думал, лучше было бы мне их не брать, там бы из них выросли деревья, а сюда я на смерть их привез.

— И однако же, говорят, падре, что в Комале добрые земли. Можно лишь пожалеть, что они принадлежат одному человеку. Хозяин там по-прежнему Педро Парамо?

— На то воля Божия.

— Полагаю, что на сей раз Божия воля ни при чем. А ты, падре, не так думаешь?

— Иной раз и меня смущало сомнение. Но люди в Комале

признают его власть беспрекословно.

— И ты вместе с ними?

— Я всего-навсего смиренный бедняк, привыкший покоряться тем, кого Господь поставил выше меня.

Они распрощались. Падре Рентериа склонился и облобызал руки своего духовника. Все так. И однако же, сейчас, дома, где вновь обступили его обычные дела и заботы, возвращаться мыслью к сегодняшнему утру в Контле не хотелось.

Он поднялся и направился к двери.

— Куда вы, дядя?

Ана. Племянница. Она всегда где-нибудь рядом, возле него, словно

верит, что уже само его присутствие служит ей защитой от жизни.

— Я выйду, Ана, пройдуся. Может, легче станет.

— Вы себя плохо чувствуете?

— Плохо себя чувствую? Нет, Ана. Я чувствую, что плохо поступаю, что я плохой человек.

Он отправился в Медиа-Луну и выразил соболезнование Педро Парамо. Ему снова пришлось выслушивать слова оправдания, которые отец пытался противопоставить обвинениям, возводимым молвой на его сына. Падре Рентерия не перебивал его. В конце концов не все ли равно. Но когда Педро Парамо пригласил его

отобедать, падре Рентерия отказался.

— К сожалению, не могу, дон Педро, я тороплюсь в церковь, у исповедальни меня уже ждет не дождется толпа прихожанок. Как-нибудь в другой раз.

Обратный путь священник также проделал пешком. Когда он входил в Комалу, солнце клонилось к западу. Весь в дорожной пыли, усталый, разбитый, направился он прямо к себе в церковь. Вошел в исповедальню, опустился на сиденье и приступил к исполнению своих пастырских обязанностей.

Первой приблизилась к решетке старуха Доротеа; она неизменно дожидалась его на паперти, когда он

шел открывать церковь.

Сегодня от старой богомолки несло винным духом.

— С каких это пор ты стала пьяницей, а?

— Я ходила на поминки Мигеля, падре. Вот и хлебнула лишнего. Поднесли мне раз, другой, да так напоили, что я ровно дурочка какая сделалась.

— А раньше ты разве не дурочкой была, Доротеа?

— Была безгрешной, падре. А теперь я вам свои грехи принесла. Погрязла я в них.

Сколько раз он твердил ей: «Перестань ходить на исповедь, Доротеа, время у меня зря

отнимаешь. Ты теперь, если бы и захотела, все равно уж согрешить не сможешь. Предоставь это другим».

— Сегодня я вам правду говорю, падре. И грехи мои — истинные.

— Рассказывай.

— Сейчас все могу вам открыть, потому что вреда от меня никакого больше не будет. Ведь это я покойному Мигелю Парамо девушек доставляла.

Падре Рентерия, только что отдавшийся было своим мыслям, вздрогнул, будто его внезапно разбудили.

— С каких пор ты этим занималась? — Вопрос почти автоматически сложился в принятую

на исповеди формулу.

— Как он в возраст вошел и похоть в нем взыграла.

— Повтори свои слова, Доротеа.

— Я говорю, что я для Мигеля девушек выискивала. Сводничала.

— Ты их к нему приводила?

— Случалось, и приводила. А другой раз только уговорю. Или разведаю, когда она безо всякой осторожности одна остается, чтобы ему без помехи ее осилить.

— И много раз так бывало?

Падре Рентерия не хотел об этом спрашивать, но вопрос сорвался с языка машинально.

— Много, падре, много. Потеряла и счет.

— Что же мне теперь с тобой делать, Доротеа? Сама скажи, какой ты заслуживаешь кары? Спроси свою совесть, можешь ли простить себя?

— Я не могу, падре. Но вы, вы можете. Затем я к вам и пришла.

— Сколько раз ты приходила ко мне и просила, чтобы в час твоей смерти я дал тебе напутствие в царство небесное? Ты надеялась обрести в раю своего сына. Правильно я говорю, Доротеа? Так вот, отныне тебе закрыт путь в обитель праведных. Да простит тебя Господь...

— Благодарю вас, падре.

— Я тоже прощаю тебя во имя Господне. Можешь идти.

— Вы не назначите мне никакой епитимьи?

— Она тебя не спасет, Доротеа.

— Благодарю вас, падре.

— Иди с Богом.

Он постучал согнутыми пальцами в окошечко исповедальни, приглашая следующую прихожанку. И слышал шепот: «Грешен аз», — голова его все ниже клонилась на грудь, словно он не в силах был держать ее прямо. Внезапно у него потемнело в глазах, вокруг все смешалось, расплылось, будто в глубокой воде; сорвались с места и завертелись вихрем огни свечей, свет дня разбился вдребезги, брызнув тысячью осколков. Он почувствовал

во рту вкус крови. Набатный голос бил ему в уши, повторяя: «Грешен аз», и громом отдавалось заключительное: «Во веки веков, аминь...», «Во веки веков, аминь...», «Во веки веков...».

— Довольно! — выговорил он через силу. — Давно ты не исповедовалась?

— Два дня, падре.

Спасения не было. Из этой бездны скорбей и отчаяния не было исхода. «Что ты тут делаешь? — подумал он о себе. — Тебе нужно отдохнуть. Поди ляг. Ты устал».

Падре Рентерия поднялся, вышел из исповедальни и направился в ризницу.

— Те, кто не знает за собой грехов, — произнес он, не оборачиваясь к ожидавшей его толпе, — могут прийти завтра прямо к причастию.

Он услышал у себя за спиной удивленный шепот.

...Я лежу на той же кровати, где много лет назад умерла моя мать. На том же тюфяке, под тем же черным шерстяным одеялом, которым мы с ней укрывались. Потому что я спала вместе с ней в уютном уголке между ее рукой и боком.

Мне кажется, еще и сейчас я слышу ее ровное дыхание, стук ее сердца и вздохи, — они так сладко убаюкивали меня... Мне кажется,

еще и сейчас во мне жива скорбь о ее смерти.

Но все это неправда.

Я лежу здесь, навзничь, и думаю о тех днях, чтобы забыть свое одиночество. Я не прилегла отдохнуть. И лежу я не на материнской кровати, а в длинном черном ящике, точно таком, в каком хоронят умерших. Потому что я умерла.

Я хорошо знаю, где я лежу, и мне остается одно — вспоминать...

Я вспоминаю пору, когда у нас созревали лимоны. Вспоминаю, как февральский ветер трепал зеленые, еще не иссушенные зноем листья папоротников. Все патио нашего

старого дома было напоено ароматом спелых лимонов.

В феврале ветер по утрам прилетал с гор. Но облака по-прежнему дремали в вышине, у вершин, ожидая теплых дней, чтобы спуститься в долину; над головой сияла чистая синева, а солнце с ветром затевали на земле буйную кутерьму: крутили шумливые вихри, переносили с места на место дорожную пыль, кипели в лаковой листве апельсинов.

И со всех сторон сыпался звонкий смех воробьев. Они расклевывали сорванный ветром лист — и смеялись. Гонялись за мотыльками, обдирая перышки о

колючки кустарников, — и смеялись. Такое уж время года.

Февральские утра, до краев наполненные свежим ветром, смехом воробьев, сияющим голубым светом.

В один из тех памятных дней умерла мама.

Мне полагалось бы кричать и плакать. Изломать руки от отчаяния. Ты хотела, чтобы было именно так. Но что делать, если утро звенело радостью? В открытую дверь, разбрасывая ветви плюща, влетал ветер. На голених у меня, между тонкими жилками, пробивался пушок, а по рукам, когда они случайно касались моих набухших сосков, пробегал горячий трепет.

Воробьи играли в свои беззаботные игры. На склонах холмов колыхались под ветром нивы. Мне стало жалко, что мама никогда больше не увидит, как ветер кувыркается в ветвях жасмина, что глаза ее навсегда закрылись для света дня. Но плакать? Зачем?

Помнишь, Хустина? Ты расставила стулья вдоль стены в галерее, чтобы людям, которые придут отдать маме последний долг, не надо было стоять, дожидаясь своей очереди. Но стулья пропустовали весь день. А мать лежала среди горящих свечей одна. Бескровное лицо, белая полоска зубов между посинелыми,

окаменевшими губами. Навеки сомкнутые ресницы, навеки затихшее сердце. Бледная застылость смерти. Мы с тобой стояли у гроба и читали нескончаемые молитвы, только она их не слышала, и мы сами тоже не слышали их: под глухой кровлей ночи голоса наши сливались с шумом ветра.

Ты выгладила ее черное платье, накрахмалила воротничок и манжеты. Как непривычны показались мне ее руки, сложенные на мертвой груди, на которой когда-то я засыпала и которая вскормила меня и баюкала трепетом любящего своего сердца.

Никто не пришел проститься с

матерью. Но так было даже лучше. Смерть ни с кем не поделишь, это ведь не наследство. А горе — плохая приманка для гостей.

Раздался стук дверного молотка. Ты пошла отворять.

— Иди ты, — сказала я тебе. — Я вижу все как сквозь туман. Постарайся спровадить их. Что? За деньгами на заупокойные службы? Передай им: она не оставила после себя ни гроша. Не выйдет из чистилища, пока не отслужат положенных месс за упокой души? Кто они такие, Хустина, что берут на себя смелость судить усопших? Я спятила? Ну и прекрасно.

Стулья так и простояли зря

вдоль стены. А потом пришли нанятые нами ко всему безразличные люди и понесли гроб на кладбище, обливаясь потом под тяжестью ноши, до которой им не было никакого дела. Не спеша, с медлительностью, обычной в их ремесле, они опустили гроб в могилу и забросали ее сырым песком. Свежий ветер обдувал их разгоряченные лица. Глаза смотрели бесстрастно, равнодушно. Потом эти люди сказали: «С вас причитается...» И ты заплатила им, как платят за товар на рынке. Деньги на похороны были у тебя завязаны в платочке, мокром от слез платочке, который ты уже не раз выжимала. Теперь ты развязала узелок и отдала

деньги могильщикам...

А когда они ушли, ты упала на колени в головах могилы и стала целовать землю над лицом погребенной. Еще немного, и ты бы разрыла песок руками, но я сказала: «Уйдем отсюда, Хустина. Она теперь далеко, здесь остался лишь ее бесчувственный прах».

* * *

— Это рассказывала ты, Доротеа?

— Я? Нет. Я немного вздремнула. Видно, тебя все еще пугают голоса.

— Мне слышалось, кто-то говорит. Какая-то женщина рассказывала про себя. Я думал, это ты.

— Женщина? Значит, та, что разговаривает сама с собой. Она погребена рядом с нами, в склепе. Это донья Сусана. Надо быть, сырость к ней подобралась, вот она и ворочается во сне.

— А кто она такая?

— Последняя жена Педро Парамо. Кто говорил, помешанная она. А кто — неправда, мол, здоровая. Но только она еще и при жизни сама с собой разговаривала, что верно, то верно.

— Она, должно быть, давно

умерла.

— Давненько. А про что она толковала?

— Что-то про свою мать рассказывала.

— Не было у нее матери...

— Об этом она как раз и говорила.

— ...А может, и так, что она просто не привезла ее с собой, когда сюда приехала. Погоди, вспомнила я: родилась она, правда, здесь, но только недолго они тут жили: уехали. Да, да. И мать ее померла от чахотки.

Чудная она была, ее мать, все болела и сроду ни к кому в гости не ходила.

— Вот и она говорит, что никто

не пришел проститься с матерью, когда та умерла.

— А про какое время она вспоминала? Понятное дело, кому охота была к ним заходить, еще, чего доброго, чахотка пристанет. На это, что ли, она, болезная, жаловалась?

— Похоже, на это.

— Услышишь сызнава ее голос — скажи мне. Интересно, что она еще говорить будет.

— Опять, кажется, что-то сказала. Мне почудился шепот.

— Нет, это не она. Это дальше, с той стороны. И голос мужской. Хуже нет, кого давно похоронили: как сырость почуют, ворочаться начинают и просыпаются.

«Неистощима милость Божия. Не иначе, как сам Господь был со мною в ту ночь. А то не знаю, чем бы и кончилось. Очнулся я, уж стемнело...»

— Слышишь? Теперь и вовсе внятно.

— Да.

«...В крови плавал. Приподнялся, о камень рукой оперся, а под пальцами-то у меня — кровь! Так и хлюпает. И кровь-то — моя. Поди, бочка целая из меня вытекла. И все-таки, смекаю, жив остался. Ну, думаю, значит, дон Педро не убить меня хотел — постращать только. Допытаться ему, видишь, надо было, ездил я тогда в Вильмайо или нет,

два месяца назад, в день святого Христофора. На свадьбу. „Да не знаю я никакой свадьбы! никакого вашего святого Христофора!“ В крови барахтаюсь, а сам все твержу: „На какую свадьбу, дон Педро? Не был я! Нигде не был! Разве что так, мимоездом глянул. Случаем меня туда занесло...“ Убивать — нет, зачем ему меня убивать. Только что охромел я с тех пор, сами видите, ну и руки лишился, что уж греха таить. Но убить — нет, не убил. Правда, говорят еще, будто, мол, окосел я, этих-то страстей понаглядевшись да натерпевшись. Но я так скажу: с той ночи мужества во мне прибавилось, ничего мне теперь не

страшно. Милость Господня
неистощима. Уж это свято».

— Кто это говорит?

— Поди знай! Мало их, что ли? Когда отца убили, Педро Парамо народу загубил без счету... Кто на той свадьбе гулял, ни одного, говорят, в живых не оставил. А Лукас Парамо туда посаженным отцом приглашен был. И ведь что главное: целили-то вроде и не в него — в жениха, а пуля возьми да отскоком и угоди в Лукаса. А кто стрелял, не дознались. Вот Педро Парамо всех подчистую и порешил. На горе Вильмайо это было, там прежде стояли хутора, а после и следа от них не осталось... Слышишь, опять заговорила. Это, уж

наверно, она. У тебя уши молодые — прислушайся, потом мне перескажешь.

— Не разобрать что-то. Она, по-моему, не говорит, только стонет.

— А с чего же это она?

— Кто знает.

— Стонет — стало быть, есть причина. Зря никто стонать не будет. Ты чутче, чутче вслушивайся.

— Стонет, а чтобы говорила — не слышно. Может быть, это она от обиды на Педро Парамо?

— Что ты! Он ее любил. Я даже больше тебе скажу, ни одной женщины он так не любил, как ее. Она много горя хлебнула, прежде чем к нему попала, считай, даже в уме

тронулась. А он до того любил ее, что все годы свои последние просидел у ворот в плетеном кресле и глядел на дорогу, по которой ее на кладбище уносили. Все ему опостылело. Земли свои забросил, добро, какое в доме у него было, сжег. Кто говорит, от жизни устал, кто — немила, мол, она ему сделалась. Так оно, не так, а только людей своих всех разогнал и уселся в кресло, лицом к дороге.

С той поры запустели в Медиа-Луне поля, и пришло на них разорение. Пашни бурьяном, кустарником зарастать начали. Посмотришь, бывало, сердце защежит. И народу убывать стало,

потянулись один за другим кто куда; известно, рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. До того дошло, только, бывало, в Комале и слышишь: «Прощайте», «Счастливого оставаться». Поначалу вроде бы даже и рады мы были, что уезжают люди. Не насовсем ведь уезжали, думали, еще вернутся. Оставляли нам свои пожитки. А кто так и семью. За семьями-то после присылали, а за пожитками — никто. А потом и вовсе, видно, забыли и про родные места, и про нас, которые тут остались, и даже про скорбь свой, кровным трудом нажитый. Я тоже осталась, мне идти было некуда. Ну и, кроме меня, кое-кто, ждали все —

умрет Педро Парамо. Он, ходили разговоры, богатство свое обещал между людьми по завещанию разделить. Вот и надеялись, не уезжали. Но день за днем бежит, сколько уж годов прошло — не помирает Педро Парамо, живехонек, и ничего ему не делается. Живет и стережет, вроде пугала, земли Медиа-Луны.

А перед самой его смертью подняли смуту «кристерос», ^[3] и войско, когда проходило, последних людей прикончило, какие еще здесь оставались. Тут-то и стала я с голоду помирать, доконал он меня, голод.

И все оттого, что у дона Педро,

видать, ум за разум зашел, и никак было ему с совестью своей не разобраться. А сделалось это с ним, когда у него жена умерла, та самая Сусана. Вот и скажи, любил он ее или нет.

Доложил ему про них Фульгор Седано.

— Знаете, дон Педро, кто тут у нас объявился?

— Кто?

— Бартоломе Сан-Хуан.

— А что ему нужно?

— Вот и я себя спрашиваю, что ему понадобилось.

— Ты не узнавал?

— Нет. Тут что интересно: он и

не думал искать, у кого бы остановиться, подъехал прямо к вашему дому, где вы прежде жили в Комале, и вещи сгрузил, словно уже заранее с вами о квартире договорился. По крайней мере, вид у него был человека, который знает, что делает.

— А ты, Фульгор? Ты-то куда глядел? Что же ты его не расспросил, ничего не выяснил?

— Я же говорю, меня сбил с толку его уверенный вид. Но раз вы велите, раз нужно — я завтра все разузнаю.

— Завтра я этим делом сам займусь. Они ведь вдвоем приехали?

— Вдвоем, он и жена. Кто вам

сказал?

— Жена? А может быть, дочь?

— По тому, как он с ней обращается, похоже, что это жена.

— Поди проспись, Фульгор.

— С вашего разрешения.

«Тридцать лет ждал я, когда ты вернешься, Сусана. Ждал часа, когда смогу получить все. Все, а не что-то. Все, что только может пожелать и что может получить человек. Я ждал часа, когда у нас не останется иных желаний, кроме твоего желания, Сусана, и моего. Моего желания тебя.

Сколько раз я приглашал твоего отца возвратиться сюда, остаться здесь жить. Я убеждал его, что нуждаюсь в нем. Предлагал место

управляющего. Пытался даже заманить обманом. Я пошел бы на все, чтобы быть снова рядом с тобой. И что же? Посыльный каждый раз сообщал мне: „Ответа не будет. Я вручил ваше письмо дону Бартоломе, но он порвал его, как и все предыдущие“. Прошло время, и через того же посыльного я узнал, что ты вышла замуж, а вскоре затем он передал мне, что ты овдовела и вернулась к отцу.

Потом никаких известий.

И снова посыльный разыскивал вас повсюду, но, возвращаясь, привозил одну и ту же весть:

„Я не нашел их на старом месте, дон Педро. Мне сказали, что они

уехали из Маскоты. Кто говорит — сюда, кто — туда“.

„Отыщи их, — настаивал я. — Раздобудь мне их хоть из-под земли. С расходами не считайся“.

Наконец однажды он приехал и сказал:

„Я обыскал все горы, не осталось дыры, куда бы я не заглянул. Отыскал-таки. Укромное местечко. Знаете брошенный рудник „Андромеда“? Вот там. В расщелине среди гор. Дом бревенчатый, конура конурой. Вот он где, ваш дон Бартоломе Сан-Хуан“.

Как раз в те дни поползли по округе странные слухи. Рассказывали, будто где-то

появились банды вооруженных людей, каких-то повстанцев. Доходили такие разговоры и до нас. Эти-то вести о мятежниках и побудили твоего отца сняться с места и приехать сюда. В присланном мне письме он объяснял, что тревожится не о себе, а лишь о твоей безопасности, и хочет привезти тебя в Комалу, чтобы в это беспокойное время ты жила не в лесной глуши, а среди людей.

От радости я не чуял под собой земли. Я готов был вскочить на коня и лететь тебе навстречу. Сделать все, чтобы тебе было весело, чтобы ты чувствовала себя счастливой. Я сам готов был плакать от счастья. И я

плакал, Сусана, когда узнал, что ты наконец возвращаешься».

— Есть селения, от которых веет щемящей тоской. Их узнаешь сразу, стоит только вдохнуть этот затхлый кисловатый воздух, этот запах старости, немощи и нищеты. Мы въезжаем с тобой в одно из таких селений, Сусана.

Там, где мы жили раньше, ты, по крайней мере, могла любоваться облаками, птицами, мхами, видеть, как вокруг тебя рождается жизнь. Помнишь? Здесь же тебя будет окружать угрюмое однообразие глинистой желтизны, сочащейся неизбывно-прогорклым зловонием.

Ибо сама безысходность горя обитает в этом селении. Все, все вокруг пропитано привкусом горя.

Он пригласил нас вернуться сюда. Предоставил нам свой дом. Обеспечил всем необходимым. Но нам не за что питать к нему благодарность. То, что мы вынуждены тут жить, — наше несчастье. И чует мое сердце, в случае опасности здесь-то уж надеяться на спасение нечего.

А знаешь, какую цену запросил у меня Педро Парамо? Я понимал, конечно, что даром он не станет оказывать благодеяний. Но я думал, что расквитаюсь работой, — так или иначе расплачиваться все равно надо.

Я рассказал ему про «Андромеду», пытался убедить, что, если взяться за дело с толком, труды оправдаются — рудник может еще послужить неплохо. Знаешь, что он мне на это ответил? «Ваш рудник, Бартоломе Сан-Хуан, меня не интересует. Лучшая ваша работа в жизни — это ваша дочь, и никакой другой работы от вас мне не нужно, — только вашу дочь».

Так что речь идет о тебе, Сусана: он хочет заполучить тебя. Он утверждает, что давно знаком с тобой, что в детстве вы играли вместе и даже ходили на реку купаться. А я и не знал. Узнай я тогда про это, я бы взял ремень и заporол

тебя насмерть.

— В этом я не сомневаюсь.

— Что?! Что ты сказала?!

— Что нисколько в этом не сомневаюсь.

— Вот как? Значит, ты готова лечь с ним в постель?

— Да, Бартоломе.

— Ты что, не слыхала, что он женат и что у него была куча баб?

— Нет, я про это слыхала, Бартоломе.

— Не смей называть меня Бартоломе. Я тебе отец!

Ему уже чудились голоса: «Бартоломе Сан-Хуан? А! Это тот, знаете, что погиб на руднике „Андромеда“. Сусана Сан-Хуан?

Дочь того погибшего рудокопа». Он понял: ему придется вернуться в горы, и там его настигнет смерть.

— Я сказал ему, — заговорил он после недолгой паузы, — что ты хотя и вдова, но не рассталась со своим мужем, во всяком случае, держишься так, как если бы он был жив. Я пытался отговорить его, но стоит мне завести об этом речь, взгляд его вспыхивает гневом, а когда я произношу твое имя, он закрывает глаза. Насколько я знаю, это человек, который ни перед чем не остановится. Педро Парамо само воплощение зла.

— А я воплощение чего?

— Ты просто моя дочь. Моя,

понимаешь? Дочь Бартоломе Сан-Хуана.

В голове у Сусаны Сан-Хуан потекли медленные мысли, потом ход их приостановился, но внезапно они понеслись вскачь, обгоняя одна другую.

— Это неправда. Это неправда, — только и могла она выговорить.

— Мы в этом мире, как загнанный на охоте, со всех сторон обложенный зверь, — произнес Бартоломе Сан-Хуан. — Жизнь норовит разорвать нас в клочья, и земля на нашем пути орошена нашей кровью, усыпана нашей брэнной перстью. Что мы совершили

дурного? Отчего червоточина изъела нам душу? Твоя мать говорила, что бы ни случилось, мы должны уповать на милость Божию. Но ты не веришь в Господне милосердие. Почему ты отказываешься называть меня отцом? Ты что, с ума спятила?

— Давным-давно. Ты разве не знал?

— Да, ты и впрямь спятила с ума.

— Разумеется, Бартоломе. Разве ты не знал?

— Известно ли тебе, Фульгор, что это самая прекрасная женщина из всех, когда-либо живших на земле? Я считал, что она для меня

безвозвратно потеряна. И я не хочу потерять ее вторично. Ты меня понял, Фульгор? Передай ее отцу, пусть отправляется обратно к себе на рудник. А там... там, в этих безлюдных дебрях, убрать его не составит труда. Что скажешь?

— Наверно...

— Мне не «наверно» надо, а наверняка. Она останется сиротой. А мы ведь обязаны заботиться о сирых и беззащитных, правда?

— Это дело можно в два счета обделать.

— В таком случае за работу, Фульгор. За работу.

— А если она узнает?

— Кто ей расскажет? Кто

посмеет ей рассказать, а? Ну, кто, говоря между нами?

— Никто, надо думать.

— «Надо думать» оставь при себе. Оставь при себе и больше не вспоминай. «Никто!» — запомни. Увидишь, разыграем все как по нотам. А разве отыскать его на «Андромеде» не стоило хлопот? Но ведь отыскали. Ты только уговори его вернуться в горы, не бросать же ему в самом деле рудник на произвол судьбы. Работа у него будет там, а дом здесь; время от времени он сможет сюда наезжать. Пусть поедит туда-обратно, лишь бы не вздумал забрать с собой дочку. Успокой его, что мы здесь о ней

позаботимся. Растолкуй ему,
Фульгор, объясни.

— Узнаю вашу прежнюю хватку, хозяин, очень она мне по душе. Весь молодой задор к вам вернулся.

На поля долины Комалы сеется дождь. Мелкий, частый дождь. В здешних местах это — редкость; тут уж если хлынет, так ливнем. День сегодня воскресный. Из Апанго спустились в селение индейцы; они принесли низки лекарственных семян, букеты розмарина, охапки тимьяна. Но сосновой лучины у них сегодня не купишь: древесина окоте[4] намокла от дождя. Не видно и коры антильского дуба, она испортилась

бы от обилия влаги. Они раскладывают свой благоуханный товар под арками торговых рядов, прямо на плитах и ждут.

А дождь все так же разбрызгивает по лужам мелкую рябь.

Между рядами маисовых всходов бегут потоки воды. Люди словно и забыли, что сегодня рыночный день. Кучками в три-четыре человека бредут они по полям, увязая в затопленных бороздах, и разбивают мотыгами крупные намокшие комья земли: надо проделать для воды побольше стоков, а то как бы дождевые ручьи не вырвали и не унесли слабые еще ростки. Люди

поминутно нагибаются и руками заботливо окучивают и закрепляют молодые всходы.

А индейцы ждут. Они уже чувствуют: сегодня день будет неудачный. Оттого-то, наверно, и дрожат под своими волглыми соломенными «дождевиками». Дрожат не от холода, а от дурного предчувствия. И смотрят на мелкую сетку дождя и на небо, по которому все так же ползут серые тучи.

Покупателей нет. Селение словно вымерло. Подошла какая-то женщина, заказала принести в другой раз ниток, немного сахарного тростника и, если найдется, ситечко — протирать кашицу для атоле. ^[5]

Чем ближе к полудню, тем тяжелей набухают сыростью соломенные «дождевики». На шаровидных семенах поблескивают бисеринки влаги. Индейцы переговариваются, занимают друг друга рассказами, пересмеиваются, сожалеют, что нет у них с собой пульты. ^[6] «Тогда бы еще полбеда. Да где его сейчас взять, у агавы вся сердцевина водой залита. Ничего не поделаешь».

По прямой улице, продолжению дороги из Медиа-Луны, идет Хустина Диас. Она старательно обходит ручьи, бегущие с бульканьем по тротуарам. Над головой у нее раскрытый зонтик. Минуя распахнутые двери большой церкви,

стоящей на площади, Хустина осеняет себя крестным знамением и скрывается под аркадой торговых рядов. Индейцы все разом оборачиваются и впиваются в нее глазами. Подойдя к первому с края продавцу, она покупает на десять сентаво веток розмарина и спешит прочь, чувствуя спиною всю цепочку провожающих ее глаз.

«Дороговизна-то ныне какая, — думает она, шагая назад в Медиа-Луну. — Десять сентаво за букетик розмарина. Не на что посмотреть. У него и запаха-то не хватит на всю комнату».

А когда надвигаются сумерки, индейцы складывают свой нехитрый

товар и, взвалив тяжелые связки зелени на спину, ныряют под дождь. Но прежде чем двинуться в обратный путь к себе в Апанго, они заворачивают в церковь помолиться Пресвятой Деве, и каждый благоговейно кладет к ее ногам пучок тимьяна. «Не беда, через неделю будет опять воскресенье», — утешают они себя. По дороге домой они рассказывают друг другу забавные истории и беспечно смеются.

Хустина Диас вошла в спальню Сусаны Сан-Хуан и поставила букет розмарина на ночной столик. Оконные занавеси были задернуты, и Хустина двигалась наугад, едва

различая в темноте неясные тени предметов. Ей показалось, что Сусана спит. В последнее время ей постоянно хотелось, чтобы Сусана спала, и она обрадовалась, найдя ее спящей. Внезапно откуда-то из темноты, из дальнего угла комнаты, до нее донесся вздох.

— Хустина! — услышала она свое имя.

Она обернулась. Но никого не увидела. Чья-то рука легла ей на плечо, чье-то дыхание коснулось ее уха. «Уезжай отсюда, Хустина, — произнес кто-то шепотом. — Собирай свои пожитки и уезжай. Ты нам больше не нужна».

— Ей я нужна, — ответила

Хустина, подавшись плечами назад. — Она больна и без меня обходиться не может.

— Может, Хустина. Теперь здесь я, и я позабочусь о ней.

— Это вы, дон Бартоломе? — Она не дождалась ответа и закричала, и, услышав этот вопль, мужчины и женщины, возвращавшиеся с полей, говорили между собой: «Похоже, кричал человек. Но разве может человек так кричать?»

Дождь приглушает звуки. Его ровный шепот не замирает и тогда, когда все уже давно смолкло; капли дождя сыплются на землю, нижутся в нити неумирающей жизни.

— Что случилось, Хустина? Что ты кричишь? — спросила Сусана.

— Я не кричала. Тебе, наверно, приснился сон.

— Я не вижу снов, сколько раз уже толковала тебе. Но ты не слушаешь того, что я говорю. Да я и не спала. Ты вчера вечером кота забыла выгнать, а я из-за него всю ночь глаз не сомкнула.

— Какого кота? Он же был в моей комнате. Разлегся у меня на ногах, разнежился, я и пожалела его, не стала прогонять. Но он лежал смирно, не шумел.

— А я и не говорю, что он шумел. Только вот цирк он тут у меня ночью устроил. Сядет в ногах — и

прыг мне на голову, мяучит, будто есть просит, тихонько так.

— Я его с вечера досыта накормила, и он всю ночь пролежал возле меня. Тебе, Сусана, опять какая-то несвязица привиделась.

— А я тебе говорю, он мне своим прыганьем целую ночь покоя не давал. Так что уж пожалуйста: когда я сплю, чтоб его и духу тут не было, какой бы он там у тебя ни был смирный.

— Тебе просто померещилось, Сусана. Ладно. Придет Педро Парамо, скажу, пусть что хочет делает, я с тобой не могу больше. Так и объявлю: ищите другую, а мне лучше уйти. Свет не без добрых

людей, найду себе место. Тебе ведь только нужно, чтобы было кого помучить. Но не все же на этом помешаны, как ты. С завтрашнего же дня уйду и кота с собой заберу, и не будет тебе больше никакого беспокойства.

— Ну и бука же ты у меня, ну и злюка же ты, Хустина! Никуда, никуда ты от меня не уйдешь, потому что никто не будет тебя так любить, как я.

— Не уйду, Сусана, не уйду. Сама знаешь, ты — вся моя жизнь. А что, бывает, рассержусь да забранюсь, так ты не смотри. Я тебя никогда не оставлю.

Она нянчила Сусану со дня ее

рождения, качала на руках, учила ходить, помогла пройти первый шаг, и ей казалось, что вся жизнь Сусаны — это все еще тот первый младенческий шаг, ставший бесконечным. Хустина помнит, как детский ротик Сусаны превратился в красивый девичий рот — «уста вы мои сахарные!». Как сделались большими и нежными ее глаза. «Глазеньки вы мои сладкие, сладкие, как конфетки мятные лазоревые, лазоревые да золотистые, лазоревые да с прозеленью! Мята ты моя садовая, мята моя полевая!» Она хватала ее ртом за ножки и, покусывая, целовала их. Давала грудь, не сосать — в ее груди не было

молока, — а для забавы. «На, на, поиграй, — приговаривала она. — Поиграй своей игральницей». Если бы можно, она бы целыми днями мяла и тискала это маленькое тельце.

А дождь барабанил по широким листьям бананов, и было слышно, как от воды, падающей с неба, кипит стоячая вода луж.

Простыни пропитались сыростью и холодом. Из устало булькающих водостоков, трудившихся без отдыха вторые сутки, бежали вспененные ручьи. А сверху все лило и лило, и земля захлебывалась в этом клокочущем потоке.

Пришла полночь; шум дождя по-

прежнему заглушал все звуки за стенами комнаты.

Сусана Сан-Хуан медленно поднялась, спустила ноги на пол, встала и двинулась прочь от кровати. Минуту назад к ней вернулось вчерашнее ощущение тяжести, придавившей ноги. Сусане почудилось, будто чьи-то руки шарят по ней, пытаясь нащупать лицо.

— Это ты, Бартоломе? — спросила она.

Ей показалось, будто скрипнула дверь: кто-то не то вошел, не то вышел. И опять знобкий, попеременно то нарастающий, то слабеющий шум дождя, гулкий переплеск воды по листьям бананов,

кипение и клекот, низвергающиеся в свое же клокочущее кипение.

Потом она уснула и пробудилась на ранней заре, когда пасмурный свет нового дня нащупал сквозь седую росу красные кирпичи стен.

— Хустина! — позвала она.

Хустина вошла сразу же, будто стояла за дверью в наброшенном на плечи покрывале и только ждала, чтобы ее кликнули.

— Что, Сусана?

— Кот. Он опять пробрался сюда.

— Бедная ты моя!

Хустина упала к ней на грудь, обхватила руками.

— Отчего ты плачешь? —

удивилась Сусана, когда ей удалось наконец приподнять голову Хустины и заглянуть ей в глаза. — Оттого, что меня напугал твой кот? Педро Парамо про это не узнает. Я скажу ему, что очень довольна тобой. Не надо плакать. Не расстраивайся.

— Умер твой отец, Сусана. Он скончался позавчера ночью, и сегодня оттуда приехали люди, они говорят, что его уже похоронили, так что нам с тобой все равно бы не успеть на похороны. А сюда везти было далеко. Ты осталась на свете одна, Сусана.

— Так это был он. — И она усмехнулась. — Ты пришел проститься, — проговорила она и

усмехнулась снова.

Много лет назад, когда Сусана еще была девочкой, отец сказал ей:

— Спустишься туда и скажешь мне, что ты увидела.

Она висела, обвязанная по поясу канатом, который больно врезался ей в тело и до крови обдирал руки, но она продолжала судорожно цепляться за него, ведь сейчас он был для нее единственной связью с живым миром, оставшимся там, наверху; отпустить канат было слишком страшно.

— Я ничего не вижу, папа.

— Смотри внимательно, Сусана. Ты непременно там кое-что найдешь.

Он направил на нее луч своей лампы.

— Я ничего не вижу, папа.

— Я спущу тебя ниже. Когда почувствуешь под ногами землю — скажи мне.

Она пролезла в узкую щель между досками, прошла по гнилым, полуобвалившимся, осклизлым от сырой глины мосткам.

— Спустись еще ниже, Сусана, ты непременно найдешь то, о чем я тебе говорил.

И она все спускалась и спускалась, словно в петле гигантских шагов раскачивалась над бездной, и болтала ногами, ища опору.

— Здесь некуда поставить ноги!

— Ниже, ниже, Сусана! Ну как, видишь что-нибудь?

Она наконец почувствовала подошвами землю — и застыла, не в силах произнести ни звука, немея от ужаса. Свет лампы двигался по кругу, теперь он скользил рядом с ней. Сверху донесся голос отца:

— Передай мне то, что там лежит, Сусана.

Она вздрогнула и, повинуясь приказанию, схватила череп обеими руками; в ту же минуту на него упал луч света. Сусана отдернула руки.

— Это мертвая голова! — вырвалось у нее.

— Там рядом должно быть еще

кое-что. Давай сюда все, что найдешь.

Едва она дотронулась до скелета, кости рассыпались; нижняя челюсть отвалилась, будто череп был сахарный, поминальный. Она стала передавать наверх одну кость за другой, пока не дошла до фаланг стопы. Череп, этот круглый костяной шар, который распался у нее под руками, она отправила наверх прежде всего.

— Попробуй-ка поискать еще, Сусана. Там должны быть деньги. Такие золотые кружочки. Ищи, ищи, Сусана.

Что было потом, она не помнила. Она пришла в себя много

дней спустя, и первое, что увидела, был лед устремленного на нее в упор отцовского взгляда.

Вот почему теперь она смеялась.

— Я догадалась, что это ты, Бартоломе.

Хустина, плакавшая у нее на груди, отпрянула, услышав этот смех; смех, который тут же перешел в судорожный хохот.

А за стенами дома по-прежнему лил дождь. Но индейцы сегодня уже не торговали на рынке, они ушли домой еще вчера. Был понедельник. Долина Комалы захлебывалась дождевыми водами.

Все эти дни бушевал ветер. Тот самый, что принес с собою дожди. Но дожди кончились, а ветер не утихал. Зеленые всходы маиса уже давно просушили свои листочки и теперь, хоронясь от губительных вихрей, полегли в бороздах. Днем временами наступало затишье, потом снова начинали скрежетать на кровле черепицы и плети выюнков бились в стекла. А по ночам за стенами дома стоял ни на миг не смолкающий стон и вой. Подгоняемые ветром, неслышно бежали по небу стада облаков, чуть не по земле волоча обвисшее брюхо.

Сусана лежит, закинув руки за голову, и слушает, как стучит

запертое окно; она силится вникнуть в язык ночи и думает. А ночь, истерзанная беспокойными порывами ветра, то мечется и тоскует, то замирает, цепenea в изнеможении.

Внезапно отворяется дверь. Ворвавшийся ветер гасит лампу. Темнота лишает Сусану способности думать. Ее слух улавливает какие-то осторожные шорохи. Гулко и неровно стучит сердце. Сквозь полусмеженные веки она чувствует взблеск огня.

Она не открывает глаз. Все равно сквозь рассыпавшиеся по лицу волосы ничего не увидишь. Над верхней губой у нее блестят капельки

пота.

— Это ты, отец? — спрашивает она.

— Да, дочь моя, я твой отец.
Отец во Христе.

Она приподымает веки, и взгляд ее сквозь сетку волос упирается то ли в тень на потолке, то ли в склонившееся над нею чье-то лицо. За ливнем ресниц, как из тумана, возникает перед ней темная человеческая фигура. Но тьма эта излучает свет. Неясный, пульсирующий свет. Он струится из груди, оттуда, где сердце. И сам он, этот луч света, сходен очертаниями с сердцем, с трепетным пламенем гаснувшей свечи. «Твое сердце

умирает от муки, — думает она. — Я ведь знаю, ты пришел сказать, что Флоренсио больше нет в живых. Но мне это уже известно. Не надо огорчаться из-за чужой беды; не горюй обо мне. Я заперла свою боль на крепкий замок. Замкни и ты свое сердце, чтобы оно не угасло».

Она поднялась с кровати и кое-как дотащилась до падре Рентериа.

— Позволь мне, безутешной, утешить тебя, — проговорила она, прикрывая руками пламя свечи.

Падре Рентериа не мешал ей; он смотрел, как она бережно загораживает свечу ладонями, как приближает лицо к ее огненному язычку. Запахло горелым мясом, он

резким движением оттолкнул Сусану. Свеча погасла.

Испуганная неожиданной темнотой, Сусана бросилась назад к кровати, под простыни.

— Я пришел укрепить тебя духом, дочь моя, — заговорил падре Рентерия.

— Вот как? Тогда уходи, — произнесла она. — И больше не возвращайся. Я не нуждаюсь в тебе.

Она услышала удаляющиеся шаги; шаги, от звука которых ее всю жизнь пронимало холодной дрожью и страхом.

— Зачем ты приходишь ко мне, раз ты мертвец?

Падре Рентерия прикрыл за

собою дверь и вдохнул холод ночи.

Над долиной все еще бушевал ветер.

* * *

В Медиа-Луну прискакал верховой, батрак по прозвищу Заика. Он потребовал, чтобы его провели к Педро Парамо.

— Зачем он тебе?

— Де-дело есть.

— Хозяина нет дома.

— Передай ему, ко-когда вернется, что я приехал от до-дона Фульгора.

— Хорошо, постараюсь его

разыскать. Придется тебе, видно, подождать часок-другой.

— Скажи ему, что де-дело не терпит.

— Ладно, скажу.

Заика не спешился, так в седле и дождался появления Педро Парамо, которого ни разу в жизни не видел.

— Что там у тебя за дело?

— Мне нужно са-самого хозяина.

— Я хозяин. Чего тебе?

— Ни-ничего. То-только до-дона Фульгора Се-седано убили. Он меня с собой взял смотреть водостоки, а то во-вода, считай, вовсе поступать перестала. По-поехали мы с ним на пару. Вдруг, откуда ни возьмись,

верховые на-навстречу, и много их. По-подъехали ближе, кто-то и за-закричи: «Я этого зна-наю. Это управляющий из Ме-медиа-Луны».

Ме-меня не тронули, не посмотрели даже. А до-дону Фульгору велели с коня слезть. Го-говорят: «Мы за революцию», и что, мол, едут землю у вас отбирать. «Беги, — го-говорят ему. — Передай хозяину, мы к нему ско-скоро в гости будем!» А он с пе-перепугу воду пустил. И по-побежал, не шибко, потому со-солидный из себя, но ничего, бежит. Тут они его и застрелили, на бегу. Лежит мертвый, одна но-нога вверх задрана, другая к земле прижата.

Я уж там не-не дышал. Дождался, пока стемнело, и вот приехал до-доложить, как оно вышло.

— Что же ты стоишь? Живо! Скачи назад, передай: хозяин, мол, вас ждет, готов служить всем, чем может. Пожалуйста, мол, гостями будете, он с вами поладит. Только сперва заедешь на ранчо Консаграсьон, крюк невелик. Ты Тилькúате знаешь? Сейчас он, наверно, там. Скажешь, мне с ним спешно надо переговорить. А этих в гости приглашай, пусть приезжают при первой возможности, я их жду. А какая же это у них такая революция?

— Бог их ве-ведает.

«Революция, — кричат, — революция!» По-поди разберись.

— Скажи Тилькуате, пусть скачет сюда не мешкая, он мне нужен.

— Все пе-передам, как велели, хозяин.

Педро Парамо снова заперся у себя в кабинете, он вдруг почувствовал себя старым, бессильным. Но не гибель управляющего угнетала его. В конце концов, старик уже и так одним глазом в могилу глядел. Все, что можно было выжать из Фульгора, давно было выжато. Правда, надо отдать ему должное: служил не за

страх, а за совесть. «Ничего, — подвел Педро Парамо итог своим размышлениям. — Этим дуракам и от Тилькуате не поздоровится. Он им пропишет».

Куда тревожнее были его мысли о Сусане. Она по-прежнему не выходила из своей комнаты и все спала, а если не спала, лежала, словно в забытьи. Всю прошлую ночь он простоял, прислонясь к стене, глядя на озаренную ночником постель, где металась во сне Сусана; лицо ее было в поту, руки шарили по простыням, мяли подушку, и только под утро, выбившись из сил, она затихла.

С тех пор как он привез ее в

свой дом, он не знал с нею иных ночей, кроме этих: больных, беспокойных, истерзанных бесконечной мукой. И он спрашивал себя, когда же это кончится.

И надеялся, что все-таки придет такой день. Вечно это длиться не будет. Какими бы жгучими ни были воспоминания, рано или поздно они угасают.

Если бы он хоть мог догадаться, в чем причина ее душевной смуты! Почему она целыми ночами ворочается на постели в бессонной изморе? Какая черная мысль томит ее, какая злая тоска отгородила ее от мира?

Все в ней казалось ему

бесконечно знакомым, родным. Но если даже Сусана стала чужой, разве ему не достаточно уверенности, что она самое для него дорогое на земле существо? Не говоря уже о том, что она просто-напросто нужна ему — и это главное, — нужна, чтобы облегчить расставание с жизнью, чтобы на пути в небытие отогнать своим сияющим светом тени прошлого.

Однако в мир, где обреталась душа Сусаны, Педро Парамо так никогда и не было дано проникнуть.

«Теплый песок пляжа приятно согревал тело. Я лежала, закрыв глаза, раскинув руки и ноги, и

соленый ветер овевал мою кожу. А передо мной, бескрайнее, шумело море, и пенистые языки прибоя норовили лизнуть мне пятки...»

— А вот теперь снова говорит она. Смотри же, Хуан Пресиано, не забудь пересказать мне то, что услышишь.

«Это было перед рассветом. Море неумоимо накатывалось на берег, вздымалось шумной волной, сбрасывало пенную накипь и опадало, уводя назад присмирившую, чистую, освежающую воду.

„Я купаюсь, раздевшись донага“, — сказала я ему. И в ту, первую ночь он последовал моему примеру. Он сбросил одежду и после

купанья вышел на берег, весь сверкая от фосфоресцирующей воды. Чайки еще спали. Над нами проносились птицы с большим уродливым клювом. И крик у них был тоже неприятный, похожий на человеческий хрип. Когда встало солнце, они улетели.

В первую ночь он пошел вместе со мной, но у моря почему-то почувствовал себя одиноким, хотя я была с ним рядом.

„У меня такое ощущение, — сказал он мне, — будто ты одна из этих ночных птиц, одна из их стаи. А мне больше нравится быть с тобой ночью в постели, когда мы лежим в темноте на одной подушке, под одной

простыней“.

И он ушел.

А я пришла и на следующую ночь. Одна. Если бы можно было, я бы купалась там каждую ночь на протяжении всей моей жизни. Вот море омочило мне ступни, вот обхватило щиколотки, коснулось бедер, сомкнуло мягкие объятия вокруг пояса, приникло к груди, щекочет влажными поцелуями шею, ласково сжимает плечи. И я погружаюсь в него. Вся. Отдаюсь безраздельно нежному и властному ритму овладевающей мною силы.

„Я счастлива, когда купаюсь в море“, — говорила я ему.

Но он этого не понимал.

И на следующую ночь я опять уходила к морю, я отдавалась его волнам, и оно очищало меня».

* * *

Всадники показались на исходе дня. Они были вооружены карабинами и опоясаны ремнями с патронными сумками. Приехало их человек двадцать.

Педро Парамо пригласил гостей поужинать, и они, не снимая шляп, расселись за столы и молча стали ждать, когда принесут еду. Ели тоже молча, только шумно прихлебывали шоколад, когда появились чашки с

шоколадом, и громко зачавкали, когда им подали фасоль и лепешки.

Педро Парамо смотрел на них. Ни одного знакомого лица. А за спиной у него, в темноте угла, неприметный для гостей, дожидался Тилькуате.

— Итак, друзья мои, — обратился он к гостям, когда они покончили с едой. — Чем еще могу быть вам полезен?

— Стало быть, это вы хозяин? Тут вот, — обвел рукой вокруг себя один из повстанцев.

— Придержи язык! — оборвал его другой гость. — Здесь вопросы задаю я.

— Хорошо. Чего же вы хотите?

— Видите, мы взялись за оружие.

— Так что же?

— А то, что вот оно и все. Мало разве?

— Что же, собственно, вас заставило?

— А чем мы хуже других? Они поднялись, ну и мы. Вы, гляжу, ничего про нас не слыхали? Погодите маленько, нам вот-вот бумагу пришлют, мы вам тогда все честь честью по писаному растолкуем, что, как да почему. А для начала завернули к вам поглядеть...

— Я и без бумаги вам растолкую, что, как и почему, — вмешался другой гость. — Мы

восстали против правительства и еще против таких вот, вроде вас. Хватит — посидели на нашей шее! С правительства мы спросим за все его подлости, а с вас, захребетников, за все ваше кровопийство, потому как вы есть кровососы, разжиревшие на нашей крови, грабители и бандиты. А насчет правительства особо распространяться не буду, мы ему наше мнение свинцом пропишем.

— Сколько же вам нужно денег на вашу революцию? — осведомился Педро Парамо. — Может, смогу вас выручить?

— Приятные речи приятно и слушать. Верно, Персеверансио? Зря ты тут раскукарекался. А нам все

равно какого-нибудь богатея нужно, чтобы одел нас, обул, все снаряжение справил. Лучше здешнего хозяина мы не сыщем. А ну-ка, Касильдо, сколько нам денег требуется?

— Сколько хозяин по своему изволению пожалует, столько и ладно будет.

— Пожалует! Да он по собственному изволению воды в дождь напиться не даст. Раз уж мы тут, надо вытрясти из этого паразита все, все до последнего майсового зернышка из жирного его брюха.

— Полегче, Персеверансио, полегче. Тише едешь — дальше будешь. Лучше мы это дело решим полюбовно. Говори, Касильдо.

— Значит, так, я посчитал. Надо бы нам, как для начала, худо-бедно тысчонок двадцать. Верно я говорю? А если хозяину нашему покажется, что, дескать, мало просим, а показаться ему очень даже может, потому как он нам от щедрого сердца сам предлагает, что ж, не откажемся и от пятидесяти. Стало быть, пятьдесят тысяч. Идет?

— Да я вам хоть все сто предоставляю, — заверил Педро Парамо. — Сколько вас всего?

— Триста человек.

— Прекрасно. А я вам еще трехсот дам, на подкрепление. С такой армией не пропадешь. Через неделю пришлю вам и людей и

деньги. Деньги дарю, а людей ссужаю на время. Когда нужда в людях минет, отправите их назад. Согласны?

— Еще бы нет.

— Значит, через неделю, сеньоры. Рад был с вами познакомиться.

— Ладно, — обернулся к нему в дверях тот, что выходил последним. — Зарубите себе на носу: надуете нас — еще услышите про Персеверансио. Так меня зовут.

Педро Парамо попрощался с ним, крепко пожав ему руку.

— Как ты думаешь, — обратился он к Тилькуате, когда они ушли. — Кто у них за командира?

— Сдается мне, тот толстопузый, что посередине сидел, потупя голову, не глядел ни на кого. Поручиться могу — он... У меня, дон Педро, глаз наметанный.

— Нет, Дамасио, за командира у них ты. Что, не желаешь иметь дело с мятежниками?

— Да нет, хоть сейчас, со всем моим удовольствием. Когда и погулять, как не в такой заварушке.

— Тогда слушай. Что к чему — это ты и сам видел, так что советы мои тебе не нужны. Соберешь триста человек верных ребят и отправляйся

на соединение. Скажешь, вот, мол, привел обещанных людей. Дальше смекалка подскажет.

— А что насчет денег передать? Деньги тоже со мной пошлете?

— Я тебе дам по десяти песо на душу. На самые срочные расходы. Остальное, скажешь, Педро Парамо оставил у себя на сохранение, а понадобится — вручит в любую минуту. Не с руки таскать с собой этикие деньги по военным дорогам. Кстати, ранчо Пуэрта-де-Пьедра, как оно тебе, по вкусу? Хорошо, с сегодняшнего дня оно твое. Вот возьми, съездишь с этой запиской в Комалу к нотариусу Херардо Трухильо, он тут же перепишет

имение на твое имя. Ну как, Дамасио?

— Что за вопрос, хозяин. Да я и без ранчо обстряпал бы это дельце, одного удовольствия ради. Будто вы меня не знаете. А так-то, конечно, премного благодарен. По крайности, будет старухе моей занятие, пока я с бандитами шатаюсь.

— Ты вот что, слушай-ка, задаром с ними не таскайся, присмотришь себе где коров — угони. Скучно на ранчо без живности — движения не хватает.

— Зебу сойдут?

— Выбирай по своему вкусу. Твое дело угнать, а на ранчо жена за ними присмотрит. И вот еще какой

тебе наказ, очень-то далеко от моих земель не уходи. На случай, сунутся сюда другие, так чтоб наперед знали: в этих местах вы хозяева. Да ко мне навещайся почаще, не забывай. Новость ли какая, или так просто.

— Будет исполнено, хозяин.

— Что она говорит, Хуан Пресиано?

— Она говорит, что прятала ноги между его ног. Закоченелые свои ноги, холодные, как обледеневшие камни, и тогда они согревались, словно она сунула их в жаркую печь, где золотится поспевающий хлеб. А он любил ее ноги, любил их кусать и уверял: они

вкусней золотистого хлеба, только что вынутого из печи. И она засыпала, вся вжавшись в него, поглощенная им, чувствуя, что растворяется в небытии, ибо плоть ее отверзлась, рассеченная пылающим железом, но вот уже не жгучий огонь, а сладостное тепло упругими сильными толчками бьет в ее расслабленное тело, проникает в нее все глубже, глубже, пронизывает до крика. Однако смерть его, говорит она, причинила ей муку еще более глубокую.

— А кто это — «он»?

— Не знаю. Надо думать, кто-то умерший раньше ее.

— Кто бы это мог быть?

— Она не сказала. Она говорит, что в один из вечеров долго поджидала его, но его все не было. Далеко за полночь она вдруг почувствовала, что он пришел. Она догадалась о его приходе по тому, что ногам ее, стосковавшимся от холода и одиночества, сделалось вдруг тепло, словно их закутали, укрыли согретым покрывалом. Проснувшись утром, она увидела, что ноги ее обернуты газетой, которую она читала, ожидая его накануне вечером, и, сморенная сном, уронила на пол. Не успела она удивиться, что ноги ее спеленаты этой газетой, как в комнату к ней вошли и сообщили, что он погиб.

— Похоже, развалился гроб, в каком она была похоронена. Доски затрещали, слышал?

— Да, и мне почудилось.

* * *

И вновь нескончаемые сны. Зачем он, этот поток нестерпимо живых воспоминаний? Разве прошлое не знает утешных напевов? Уж лучше бы сразу смерть!

— Сеньора, Флоренсио погиб.

Какой высокий, какой долговязый человек! И какой у него суровый голос, жесткий, как каменная земля. А лицо — будто в

тумане. Или туман — это уже после? Его лицо вдруг расплылось, словно их разделила пелена дождя. Что такое он говорит? Флоренсио? Что за Флоренсио? Мой? Почему я тогда не разрыдалась! Почему я не могла тогда плакать! Я бы тоску утопила в слезах. Нет, Бога нету! Как я молила тебя, Господи: оборони его, сохрани. Только об этом одном тебя и просила. Но промысел твой лишь об наших душах. А мне была нужна не душа его, мне тело его было нужно, нагое, распаленное любовью, кипящее желаниями, — эта тяжесть его, теснящая мои плечи, мои трепещущие груди. Висеть в пространстве мне нужно было

невесомой иголочкой, притянутой магнитом; лодочкой, качающей его тело, прозрачной, покорной его силе и власти. Что делать мне теперь со своими губами, если нет больше рта, который наполнил бы их собой? Что делать мне со своими истомившимися губами?!

Сусана металась на постели, а Педро Парамо стоял, прислонясь к дверной притолоке, и ждал, когда же наконец кончится осаждающий ее кошмар. Он уже потерял счет минутам. Керосин в лампе выгорел, мигающее пламя тускнело, фитиль потрескивал, угасая.

Если бы она страдала от физической боли, он нашел бы, чем

ее отвлечь, утешить. Но кошмары... он был бессилен против этих нескончаемых, страшных снов, снедавших ее последние силы. Не отводя глаз, Педро Парамо следил за каждым движением Сусаны. Что, если и она угаснет вместе с этим тускло мерцающим огоньком, при свете которого он на нее глядит?

Потом он вышел, бесшумно прикрыв за собою дверь, и чистый ночной воздух отогнал от него образ Сусаны Сан-Хуан.

А она перед рассветом проснулась вся в поту.

Она сбросила на пол тяжелые одеяла, скинула жаркие простыни и разметалась на постели нагая:

предутренняя свежесть приятно холодила тело. Она вздохнула и опять погрузилась в сон.

Так, обнаженной и спящей, нашел ее несколько часов спустя падре Рентерия.

— Вы слышали, дон Педро, что отряд Тилькуате разгромлен?

— Нет, Херардо, я слышал только, что вчера вечером произошла какая-то стычка. Шум боя долетал даже сюда, но никаких подробностей я не знаю. Кто тебе про это рассказал?

— В Комалу привезли раненых. Жена дала им ветоши для перевязок. Они говорили, что сражались в

отряде Дамасио и что у них много убитых. Судя по всему, они дрались с какими-то пришлыми, с вильистами,

[7] так, что ли, они себя величают.

— Дрянь дело, Херардо. Худые настанут времена, как я посмотрю. Ты-то сам как дальше думаешь жить?

— Уехать хочу, дон Педро. В Сайулу. Снова там обоснуюсь.

— Хорошо вам, нотариусам, адвокатам. Чуть что — собрали пожитки и снялись с места, не то что наш брат, сиди дожидайся, пока тебе шею свернут.

— Не совсем так, дон Педро, не совсем так. Очень уж работа у нас деликатная, того и гляди, впросак попадешь. А расставаться с такими

клиентами, как, например, вы, просто жаль; к тому же сразу лишаешься всех преимуществ, даваемых тебе репутацией. Переезжать, спасая живот свой, — это, если угодно, все равно что рубить сук, на котором сидишь. Каковы будут ваши распоряжения относительно бумаг? Где их оставить?

— Нигде не оставляй. Забери с собой. Разве в Сайуле ты уже не сможешь быть моим поверенным?

— Благодарю вас, дон Педро. От всей души благодарю за доверие. Но вынужден признаться: продолжать вести ваши дела не смогу. Несоблюдение существующих

установлений в некоторых, так сказать, случаях... К ряду документов, свидетельствующих о кое-каких обстоятельствах, не должен иметь доступа никто, кроме вас. Попади такая бумага в чужие руки, она может стать орудием шантажа. Самое безопасное для вас было бы хранить подобные документы при себе.

— Ты прав, Херардо. Оставь их здесь. Я их сожгу. Есть бумаги, нет бумаг, кто посмеет оспаривать у меня право на мою собственность?

— Безусловно, никто, дон Педро. Никто. Что ж, позвольте откланяться.

— Поезжай с Богом, Херардо.

— Как вы сказали?

— Я говорю, да хранит тебя
Господь.

Нотариус медленно пошел к дверям. Он был уже стар, но не настолько, чтобы волочить ноги, словно передвигает их через силу. По правде сказать, неохота, с какой он уходил, объяснялась другим: нотариус рассчитывал получить вознаграждение. Ведь он служил еще отцу дона Педро, покойному дону Лукасу, а потом в течение долгих лет, вплоть до сегодняшнего дня, и самому дону Педро; кроме того, напоследок занимался делами сына дона Педро, Мигеля. По правде сказать, старик рассчитывал, что ему

за это заплатят. Одарят щедрой рукой. Не скупясь.

— Еду прощаться с доном Педро, — сообщил он сегодня жене. — Я знаю, он хорошо отблагодарит меня за труды. Я даже думаю, этих денег нам хватит и на устройство в Сайуле, и на то, чтобы безбедно прожить остаток наших дней.

Непонятно, откуда у женщин такое чутье? Они вдруг начинают сомневаться. Можно подумать, небо посылает им тайные знаки. Нет, жена совсем не была уверена, что он получит вознаграждение, на которое рассчитывал.

— Не надейся. В Сайуле опять

придется зарабатывать на жизнь горбом, прежде чем снова станешь на ноги. Ни гроша ты с него не получишь.

— Откуда ты это взяла?

— Да уж взяла.

Нотариус шел к дверям, ожидая, что сейчас его окликнут: «Постой, Херардо! У меня от всех этих дел голова кругом идет, вот я сразу о тебе и не подумал. Но я все помню, ведь ты мне оказывал услуги, которых не оплатишь никакими деньгами. Прими от меня этот скромный подарок».

Однако его не окликнули. Он перешагнул порог, отвязал лошадь от коновязи, сел в седло и тронул

шагом, чтобы расслышать, если все-таки позовут. Старик направил коня на дорогу в Комалу и ехал, никуда не сворачивая. Когда Медиа-Луны уже не стало видно, он подумал: «Я мог бы попросить у него в долг, но это было бы слишком большим унижением».

— Я, кажется, не совсем правильно поступил, дон Педро, и поэтому решил вернуться. Я с удовольствием буду и дальше вести ваши дела.

Нотариус говорил это, сидя в кабинете Педро Парамо. Не прошло еще и получаса с той минуты, как он отсюда вышел.

— Хорошо, Херардо. Бумаги

там, где ты их положил.

— Я хотел бы также... Нельзя ли мне в связи с переездом... Расходы... Небольшой аванс в счет моего гонорара... Ввиду, так сказать, чрезвычайных обстоятельств, если, конечно, вы считаете возможным.

— Пятьсот?

— А немного больше, ну хотя бы... не знаю...

— Тысячи хватит?

— Я бы хотел пять тысяч.

— Что? Пять тысяч песо? Где мне их взять? Ты же знаешь, все мои деньги вложены в имение. Земля, скот — вот мое состояние. Ты же прекрасно знаешь. Тысячу, пожалуйста, дам. На что тебе

больше?

Старик ничего не ответил; он сидел, уронив голову на грудь, и думал. На письменном столе звенели отсчитываемые доном Педро монеты. Он думал о том, что дон Лукас так и не выплатил ему гонорара, о том, как молодой дон Педро заявил, что начинает новый счет. А сколько неприятных хлопот было у него из-за Мигеля! Раз пятнадцать, если не больше, спасал он мальчишку от тюрьмы. Одно только убийство это чего стоило! Как его звали, убитого-то? Ага, вспомнил, Рентериа. Некий Рентериа был найден мертвым со вложенным в руку револьвером. Потом все

обошлось, и Мигель куражился, смеялся, а тогда здорово перетрусил. Одно это дельце, во сколько бы оно вскочило дону Педро, дойди до следствия, не говоря уж до суда? А изнасилования? Не раз и не два выкладывал он денежки из собственного кармана, чтобы умаслить потерпевшую, заткнуть ей рот. «Да ты, глупая, радоваться должна, что беленького родишь», — уговаривал он очередную жертву.

— Вот, Херардо, возьми. Да смотри береги их хорошенько, они не дают потомства.

— Да, но и убитые не дают потомства, — проговорил он, все еще погруженный в свои мысли. И

добавил: — К сожалению.

До рассвета было еще далеко. На небе паслись частые, тучные звезды, отъевшиеся в черноте ночи. Выглянул месяц, поднялся чуток и закатился: грустно стало, что никто на него не любит. Часок только и постоял на небе, унылый, сам на себя не похожий — ни свету от него, ни радости; постоял и спрятался за горы. Где-то далеко, во мраке, ревели быки.

— И сон их не берет, зверюг, — бормотала Дамиана Сиснерос. — Ни днем не спят, ни ночью. Дьявольское отродье рогатое. Дьявол, он тоже вроде них: глаз не смыкает, знай

рыщет, выискивает, чью бы душу в пекло уволочь.

Она повернулась на другой бок, лицом к стене.

В то же мгновение раздался стук.

Дамиана затаила дыхание, лежала, широко раскрыв глаза. Вот опять. Три отрывистых удара, будто кто-то постучал в стенку согнутыми пальцами. Нет, не там, где лежала она, гораздо дальше, но в ту же стенку.

«С нами крестная сила! Трехкратный стук! Уж не святой ли это Паскуале Байлон ^[8] возвещает какому-нибудь своему читателю час кончины?»

Впрочем, соображение это не очень-то беспокоило Дамиану Сиснерос — она к числу читателей святого Паскуаля не принадлежала, ибо, мучаясь костоломом, давненько не заглядывала в церковь. Но все-таки ей стало страшно, больше того — любопытно.

Она бесшумно поднялась со своей грубо сколоченной кровати и осторожно растворила окно.

В полях чернела непроглядная ночь. Но Дамиана сумела-таки разглядеть то, что ей было нужно: слишком хорошо была ей знакома могучая стать Педро Парамо. Он стоял у стены и, пригнувшись, стучал в низенькое окошко, за которым

спала служанка Маргерита.

— Ох уж этот дон Педро, — вздохнула Дамиана. — Седина в волосах, а ему бы все греховодничать. Одного не пойму, зачем это он тайком да украдкой. Что бы ему сказать мне, так, мол, и так. Да я бы мигом Маргерите шепнула, дескать, пойдешь нынче на ночь к хозяину, нужда у него до тебя. Ему бы и вставать не пришлось, себя беспокоить.

Снова заревели быки, и Дамиана Сиснерос прикрыла окошко. Она легла на кровать, укуталась с головой в одеяло и стала представлять себе, что происходит сейчас со служанкой Маргеритой.

Скоро она сбросила с себя одеяло и скинула рубашку — ночь вдруг сделалась жаркой...

— Дамиана! — услышала она свое имя.

Она была тогда молоденькой девушкой.

— Открой дверь, Дамиана!

Сердце пойманной лягушкой запрыгало у нее в груди — сейчас выскочит промеж ребер.

— А что вам надо, хозяин?

— Открой, Дамиана!

— Я уже сплю, хозяин.

Он повернулся и пошел прочь от ее дверей. Сапоги его так и загремели по каменным плитам длинной галереи; шаги были злые-

презлые.

Дамиана испугалась его гнева и на другую ночь оставила дверь незапертой и даже разделась догола, чтобы не вызвать у него, упаси бог, неудовольствия.

Но Педро Парамо никогда больше не постучался в ее дверь.

Вот почему, хоть она тогда и сумела себя поставить так, что теперь все служанки Медиа-Луны у нее под началом, и хоть сама уже состарилась, все вспоминается ей та далекая ночь, когда она услышала хозяйский голос: «Открой дверь, Дамиана!»

Дамиана так и уснула, думая, как счастлива, наверно, сейчас

Маргерита.

Потом она снова проснулась, но уже не от стука, а от грохота. Дубасили в большие ворота поместья: похоже было, их пытаются разбить ударами прикладов.

Она опять раскрыла окно, всматриваясь в ночную тьму, однако ничего не увидела, ей только почудилось, что вся земля вокруг усадьбы ровно бы копошится, как после дождя, когда выползают из подземных нор дождевые черви. И еще ей почудилось, будто пахнуло в лицо теплом от многих собравшихся вместе людей. Громко квакали лягушки, трещали цикады. Безветренная, тихая ночь — в пору

дождей бывают иной раз такие ночи. На ворота обрушился новый град ударов.

Свет фонаря выхватил из темноты несколько человеческих лиц и тут же погас.

«Не моя печаль», — сказала себе Дамиана Сиснерос и захлопнула окно.

— Я слышал, Дамасио, тебя разбили. Как ты до этого допустил?

— Вам неправду сказали, хозяин. И сам я цел, и люди мои целехоньки. Со мной сейчас прибыло семьсот человек, да еще по разным местам сотни две-три наберется. А что пала молва, так это вот почему.

Ребята мои, которые из «старичков», соскучились, без дела сидя, а тут как раз возьми да и подвернись отряд голоштанников. У них-то и людей было всего ничего, ну, завязали перестрелку и напоролись: на поверку-то там армия целая стояла. Вильисты. Слыхали небось?

— А откуда они?

— С севера. Где пройдут, так будто после урагана: камня на камне не оставляют. И цель они себе поставили, по всему судя, такую: в каждом месте побывать, ни одного города стороной не обойти. Людей у них — гибель. И сильны, этого не отнимешь.

— Вот бы ты к ним и

присоединился. Я же тебе говорил: присоединяйся к тому, кто сильней.

— А я уже с ними.

— Зачем же ты приехал?

— Деньги нужны, хозяин.

Устали мы одно мясо жрать. Глаза бы на него не смотрели. А в долг провианта не добудешь. Мы и подались к вам. Дайте нам денег на довольствие, а то ведь прямо хоть народ иди разоряй. Оно конечно, где-нибудь подальше от наших мест мы бы и сами не прочь налететь да амбары почистить. А тут — несподручно, у всех родня кругом, своих-то совестно грабить. Вот дело какое получается. Денег нам надо. Мы бы хоть маиса на лепешки и

перцу-чиле прикупать стали.
Обрыдло нам мясо-то лопать.

— Вот ты как теперь со мной заговорил, Дамасио?

— Ничего такого я вам не сказал, хозяин. Я ведь не ради своей корысти — я о ребятах пекусь.

— Это, конечно, хорошо, что ты о своих людях заботишься. Но только деньги добывай-ка уж где-нибудь в другом месте, не у меня. С меня взятки гладки: я вам свое выдал. Советовать тебе тоже, конечно, дело не мое, какой уж из меня советчик, но почему бы твоему отряду не захватить Контлу? Не приходило на ум? Для чего ж ты тогда пристал к революции? Будешь выпрашивать

милостыню — останешься в дураках. Уж лучше бы тебе дома сидеть, возле жениной юбки, да цыплят разводить. Мало ли городов? Любой бери, все в твоей власти. Ты каждый день головой рискуешь. Какого же черта? Пусть и другие чем-нибудь пожертвуют. В Контле богачей как собак нерезаных. Вот и пускай с тобой поделятся. Или, может, они думают, ты к ним нянькой приставлен, чтобы цацкаться с ними и всю жизнь оберегать ихние кошельки? Нет, Дамасио. Дай им почувствовать, что ты не в бирюльки с ними играешь и не шуточки шутишь. Не церемонься, тряхни их как следует, посмотришь, деньги на

тебя дождем посыплются.

— Что ж, попробуем, хозяин. Надоумили, спасибо. От вас всегда что-нибудь дельное услышишь.

— Желаю успеха.

Педро Парамо смотрел на уезжающих. Сотрясая топотом землю, пронеслась мимо на рысях темная масса неразличимых во мраке коней. Пахнуло в лицо конским потом и пылью. И снова вспыхнули в воздухе, скрещиваясь и расходясь, огни светляков — отряд ускакал. Педро стоял один — огромный, крепкий, как заматерелый дуб. Но с начинающей загнивать сердцевиной.

Он думал о Сусане Сан-Хуан. И о девочке, от которой только что

вышел. Он даже не успел ее как следует распробовать. Дрожащее от страха полудетское тельце. А как колотилось у нее сердце — вот-вот выскочит изо рта. «Плоти-то в тебе, — сказал он ей, — на разок куснуть». И он подгрёб ее под себя, пытаясь обратить это хрупкое тело в желанную плоть Сусаны Сан-Хуан, женщины, которая, как видно, не была создана для этого грешного мира.

Потревоженный рассветом день просыпается, лениво потягивается, с трудом разлепляя глаза. Старуха земля сонно зевает, выдыхая клубы тумана, вздрагивает от

предутреннего холода и, наконец, стряхивает с себя темноту ночи.

— Ночь — гнездилище всех пороков, верно, Хустина?

— Да, Сусана.

— Это и в самом деле так?

— Наверно, так, Сусана.

— Тогда и жизнь тоже, вероятно, грех. Правда, Хустина? Прислушайся. Слышишь? Это земля скрежещет зубами.

— Нет, Сусана, я ничего не слышу. Ведь я не отмечена судьбой, как ты.

— Ты была бы поражена, да, ты не могла бы прийти в себя от изумления, если бы слышала то, что слышу я.

Хустина продолжала приводить комнату в порядок. Она тщательно вытерла тряпкой мокрые доски пола. Вылила остатки воды из разбитой вазы, подобрала рассыпавшиеся цветы, бросила осколки стекла в ведро с водой.

— Ты много убила птиц в своей жизни, Хустина?

— Много, Сусана.

— И тебе их не было жалко?

— Было, Сусана.

— Так чего же еще ты ждешь, чтобы умереть?

— Смерти, Сусана.

— Не беспокойся, она себя ждать не заставит.

Сусана лежала на высоко

взбитых подушках. Беспокойный взгляд ее перебегал с одного предмета на другой, ни на чем не задерживаясь. Руки были сложены на животе, прижаты к нему оберегающим и защищающим жестом. Ей чудилось, будто в воздухе, над головой у нее, звенит и всплескивает, как от взмахов чьих-то невидимых, легких крыльев. Где-то скрипело колодезное колесо, доносились еще какие-то шумы, голоса — обычные звуки пробуждающегося дня.

— А ты веришь в ад, Хустина?

— Да, Сусана, и в рай тоже.

— Я верю только в ад, —

проговорила Сусана и закрыла глаза.

Когда Хустина выходила из комнаты, она снова спала, а из-за горизонта, разбрасывая по небу огонь, поднималось солнце. За дверью Хустина столкнулась с Педро Парамо.

— Как хозяйка?

— Плохо, — потупилась

Хустина.

— На что она жалуется?

— Ни на что не жалуется, сеньор. Но ведь говорят, мертвые никогда не жалуются. Нет уж, никому больше не будет от нее утешения на этом свете.

— Падре Рентерия не приходил?

— Был вчера вечером.

Исповедовал. Сегодня бы должен

причастить, да, видно, не сподобилась она. Обещался, как рассветет, быть здесь со святыми дарами. Но вот уж и солнце встало, а его нет. Значит, не сподобилась.

— Чего не сподобилась?

— Божьей благодати, чего же еще?

— Не болтай вздора, Хустина.

— Как вам будет угодно.

Педро Парамо открыл дверь и остановился на пороге. Яркий луч света упал на лицо Сусаны. Глаза ее были зажмурены, словно от нестерпимой внутренней боли, влажные губы полуоткрыты, руки в беспамятстве забытья комкали простыни, открывая нагое тело, по

которому внезапной волной
пробежала судорога.

Он шагнул в комнату, подошел к кровати и укрыл спящую одеялом. Нарастающие волны содроганий сотрясали ее всю — ритмичные, как сокращения тела ползущей змеи.

— Сусана, — проговорил он, наклонясь к ее уху. — Сусана, — повторил он настойчиво.

Дверь открылась, это был падре Рентерия. Он безмолвно приблизился к кровати.

— Я пришел причастить тебя святых тайн, дочь моя. — Губы его шевелились едва приметно.

Он подождал, пока Педро Парамо приподнимет ее и подложит

подушки, чтобы она могла прислониться к спинке кровати. Полусонная, Сусана высунула язык и проглотила облатку.

— Мне было хорошо с тобой, Флоренсио, — прошептала она, вновь погружаясь в гробницу своих простыней.

— Видите вы то окошко, донья Фауста, вон то, в Медиа-Луне, где каждый вечер горит свет?

— Нет, Анхелес, никакого окошка я не вижу.

— Теперь-то увидеть мудрено: свет погас. Не приключилось ли у них там какой беды? Вот уж три года светится в Медиа-Луне это окно; как

стемнеет, так и загорается огонек. Кто там бывал, говорят, будто это у жены Педро Парамо в комнате. Тронутая она вроде, и все темноты, сердечная, боится. А сейчас, глядите-ка, погасло окошко. Не к добру это, я думаю.

— Уж не померла ли? Хворала она сильно. Последние дни никого, рассказывают, не узнавала, сама с собой разговаривала. Да, достался-таки нашему Педро Парамо крест на долю. С такой-то женой намучаешься. Бедный дон Педро!

— Нет, Фауста, не бедный. Поделом ему наказание, он еще и не такое заслужил.

— Смотрите-ка, в окошке все

темно.

— Бог с ним, с окошком, пора спать ложиться. Не пристало нам, старым, в поздний час по улицам шлендрать.

Фигуры женщин, вышедших только что из церкви, скрылись под арками торговых рядов. Было часов одиннадцать. Из темноты вынырнула мужская тень и двинулась наискось через площадь. Человек шел в сторону Медиа-Луны.

— Донья Фауста, а донья Фауста! По-моему, это доктор Валенсия? Не узнали?

— Похоже, что он. А может, и не он, больно уж я глазами слаба стала.

— Да вы вспомните, он всегда в

белых брюках ходит, а саквояж у него черный. Голову даю на отсечение, что в Медиа-Луне стряслась беда. Вы поглядите, как торопится, словно кнутом его подгоняют, только что не бежит.

— Ох, не было бы там и вправду несчастья! Может, вернемся в церковь, скажем падре Рентерия, чтобы шел в Медиа-Луну, а то как бы она, болезная, без отпущения не преставилась.

— Упаси Господь! А вам, Анхелес, типун вам на язык! Мало она, что ли, в этой-то жизни настрадалась? Как же можно желать ей смерти без духовного напутствия? Ведь ей тогда и на том свете маяться!

Хотя знающие люди говорят: кто не в своем уме, исповедь ни к чему; он, если и сотворит дурное, все равно безгрешен. А так оно или не так, одному Господу Богу ведомо... Глядите-ка, снова огонь в окне. Дай Бог, чтобы обошлось. А то все наши хлопоты зря пропадут. Сколько мы трудов положили, чтобы убрать к Рождеству храм Божий, работали все дни не покладая рук: церковь-то как игрушечка стала. А умри сейчас кто в поместье, дон Педро нам праздник в два счета порушит. При его-то власти...

— И что вы, донья Фауста, вечно каркаете? С меня бы пример взяли, уповали бы, как я, на промысел

Божий. Помолитесь Пресвятой Деве, прочитайте «Богородице Дево, радуйся» и увидите: нынче ночью пронесет стороной. А дальше что Бог пошлет, не говоря уж, что ей, бедняжке, и самой, наверно, жизнь опостылела.

— Спасибо вам, Анхелес, и всегда-то вы меня успокоите, подбодрите. С вашими мыслями в сердце и спать лягу. Говорят, если во сне чего-нибудь пожелать, желание твое прямехонько к Божьему престолу летит. Хорошо бы и мое желание до неба дошло. Спокойной ночи. Завтра мы с вами увидимся.

Старухи распрощались и отправились каждая к себе, они

жили через дом одна от другой. И ночь опять навесила на селение глухой замок безмолвия.

* * *

— Уста мои полны праха.

— Да, падре.

— Не говори: «Да, падре».

Повторяй за мной то, что говорю я.

— А что вы говорите? Вы опять будете меня исповедовать? Во второй раз? Зачем?

— Это не исповедь, Сусана. Я пришел побеседовать с тобой. Приготовить тебя к смерти.

— Я уже умираю?

— Да, дочь моя.

— Зачем же вы тогда меня мучите? Оставьте, дайте побыть в покое. Вас, должно быть, послали сюда нарочно, чтобы мешать мне спать. Вы будете разговаривать со мной, пока у меня весь сон не пройдет. А как я потом залучу его обратно? Ведь после мне не уснуть. Зачем вы понапрасну меня тревожите?

— Я уйду, Сусана, и больше не потревожу тебя. Повторяй за мной, что я буду говорить, и ты уснешь, как от колыбельной песни, ты сама себя убаюкаешь. Ты уснешь, и тебя уже никто не разбудит... Ты никогда больше не проснешься.

— Хорошо, падре. Говорите, я буду повторять.

Падре Рентериа присел на край постели, возложил руки на плечи Сусаны Сан-Хуан, приник губами к ее уху, чтобы она отчетливо слышала каждое слово, и зашептал:

— Уста мои полны праха.

На мгновение он остановился — он хотел убедиться, что она повторяет его слова. Действительно, губы ее шевелились, но шевелились беззвучно.

«Уста мои полны тобой, твоими устами. Твои губы прижаты к моим губам, они сдавливают мой рот, они тверды, словно ты хочешь ими искусать меня...»

Она тоже остановилась и взглянула на падре Рентериа, но лицо его белелось как бы сквозь затуманенное, далекое стекло. И снова задышали теплом ей в ухо слова:

— Я глотаю пенящуюся слюну, грызу землю, кишашую червями, и черви клубками копошатся у меня в глотке и впиваются в нёбо... Все уродливей и страшней искажается мое лицо, рот проваливается, прободенный и съеденный моими же зубами. Нос расползается. Глазные яблоки растекаются жижей. Волосы обращаются в тлен, словно их слизнуло пламенем...

Его удивило спокойствие

Сусаны. О чем она сейчас думает? Идет ли в ней борьба с тем, что он ей внушает, пытается ли она отогнать от себя устрашающие образы, которые он хочет поселить в ее душе? Он заглянул ей в глаза, и она ответила на его взгляд. Ему даже показалось, что на ее губах мелькнула тень улыбки.

— Но есть мука еще более жестокая. Лицезреть Господа нашего во всей славе его, быть осиянну сладчайшим светом беспредельных небесных сфер, услышать хоры серафимов и херувимов, вкусить на один скоротечный миг неизреченную благостыню во взоре Вседержителя и быть низринуту на вечные муки в преисподнюю. Но и это не все. Ибо

миг сей неотторжим от земного страдания: мозг костей наших обращается в горящий огонь, а кровь наших вен — в языки пламени; мы мечемся, испепеляемые неистовой, неутихающей болью, свирепеющей от гнева Господня.

«Его объятия были моим покоем и прибежищем. Они дарили мне тепло и любовь».

Падре Рентерия обвел глазами лица присутствующих. Прислонясь к дверному косяку, скрестив на груди руки, стоял Педро Парамо; рядом с ним — доктор Валенсия; чуть подалее — еще какие-то мужчины. А на другом конце комнаты, в темном углу, жалась кучка женщин,

ожидая, когда им подадут знак
затянуть отходную.

Ему вдруг захотелось встать,
причастить умирающую и сказать:
«Я кончил». Но нет, он еще не
кончил. Мог ли он дать последнее
отпущение грешнице, не зная, до
конца ли она раскаялась в своих
прегрешениях?

И все-таки сомнения не
покидали его. А что, если ей не в чем
раскаиваться? Если она не совершила
грехов, от которых должна
очиститься? Он опять склонился к
ней и взял ее легонько за плечи.

— Ты скоро предстанешь пред
лицо Всевышнего, — проговорил он,
понизив голос. — А Господь не

ведает милосердия к грешникам.

Падре Рентериа вновь приблизил губы к ее уху, но она отрицательно покачала головой.

— Уходите, падре. Не стоит вам из-за меня так беспокоиться. Мне теперь хорошо, и я очень хочу спать.

Кто-то из женщин, стоявших в темном углу комнаты, тихо всхлипнул. Это неожиданно вернуло силы Сусане.

— Хустина! — произнесла она, приподымаясь на постели. — Если хочешь плакать, сделай одолжение, пойди куда-нибудь в другое место.

Тут ей вдруг почудилось, что она почему-то уткнулась головой себе в живот и никак не может оттолкнуть

его. Она попыталась отодвинуть живот в сторону, но он еще тяжелей навалился ей на глаза, заткнул ноздри и рот, не давая дышать. Она отчаянно отбивалась, чувствуя, что опрокидывается навзничь, летит в черный провал ночи.

— Да, я видела, как умирала донья Сусана.

— Что ты сказала, Доротеа?

— То, что ты слышишь.

* * *

На рассвете жителей Комалы разбудил звон колоколов. Утро

восьмого декабря выдалось пасмурное. Не холодное, нет, просто пасмурное. Сперва ударил большой колокол, к нему присоединились остальные. Так звонят к торжественной мессе. В домах тут и там распахивались двери, удивленные лица выглядывали на улицу. Правда, любопытствующих было пока что немного: не каждый охотник вставать спозаранок ради первых колоколов, благовестящих о наступлении дня. Но колокольные языки не смолкали. Заговорила звонница церкви Крови Христовой, за ней вступила церковь Животворящего креста; похоже, что затрезвонили даже с далекого

кладбища. Настал полдень, а медный гул все лился и лился. Пришла ночь, колокола не унимались, они гремели все разом, еще оглушительней, еще иступленней прежнего, и уже не различить было отдельных голосов, все слилось в один рыдающий вой. Людям приходилось кричать, чтобы слышать друг друга. «Что случилось?» — недоумевали они.

К концу третьего дня все ходили оглохшие. Разобрать человеческую речь сквозь немолчный трезвон было невозможно: колокола бесновались. Но в их громовом хоре уже зияли пустоты надтреснутых голосов, словно звучала не колокольная медь, а глухое нутро глиняных кувшинов.

— Донья Сусана скончалась.

— Кто, кто?

— Хозяйка.

— Чья? Твоя?

— Да нет! Жена Педро Парамо.

На колокольный звон

потянулись в Комалу люди из ближних селений, даже из городов. Из Контлы народ валил толпами, как на богомолье. Шли из самых отдаленных мест. Прикатил из неведомых краев цирковой балаган с канатоходцами и чертовым колесом. Любопытства ради забрели музыканты, поначалу на авось, потом освоились, и к ночи уже звучали на улицах серенады. Под гудение погребальных колоколов в Комале

зашумело веселье. Народ загулял: музыка, топот, хохот; на площади — не протолкаться, как в дни больших праздников.

Колокола смолкли, но захмелевшее селение не угомонилось. Невозможно было втолковать людям, что звонили по усопшей, в знак траура. Невозможно было уговорить незваных гостей убраться восвояси. Куда там! Все новые и новые охотники повеселиться прибывали в Комалу.

Медиа-Луна стояла всеми забытая, притихшая. Челядь и батраки ходили разувшись, говорили шепотом. Сусану Сан-Хуан похоронили, но из Комалы на

похороны не явился почти никто. Там шло ярмарочное столпотворение. Гремела музыка, кипели петушинные бои, орали пьяные; зычногосые лотерейщики зазывали купить билетик. По ночам из Медиа-Луны виден был озаренный сиянием край черно-свинцового неба: отблеск праздничных огней Комалы. Но и дни в Медиа-Луне были черны и угрюмы, как ее ночное небо. Никто больше не слышал хозяйского голоса, дон Педро не выходил из своей комнаты, он поклялся отомстить Комале.

— Буду сидеть сложа руки, пускай подыхают с голоду.

Слово он сдержал.

Время от времени наезжал
Тилькуате.

— Теперь мы каррансисты, ^[9] —
докладывал он.

— Очень хорошо.

— Наш командующий —
генерал Обрегон. ^[10]

— Очень хорошо.

— В столице объявили
замирение. А нас распустили по
домам.

— Не торопись. Вели своим
оружия не сдавать, еще пригодится.
Замирение долго не протянется.

— Слышали, новый мятежник
выискался — падре Рентерия. Отряд
собрал. К нему примкнем или против

него выступим?

— О чем тут толковать. Надо поддержать правительство.

— Так ведь мы не регулярная армия, мы партизаны, как бы нас мятежниками не объявили.

— Тогда отправляйся на покой.

— Это мне-то на покой? Мне? После всего?

— Что ж, сам смотри, тебе видней.

— Когда так, пойду на подкрепление к нашему старикану. Клич у них больно мне по душе пришелся. К тому же с падре идти — спасение души обеспечено.

— Что ж, тебе видней.

Педро Парамо сидел в старом плетеном кресле у больших ворот Медиа-Луны. Светлели, истаивая, последние ночные тени. Он сидел у ворот уже добрых три часа. Но спать ему не хотелось. Он давно забыл, что такое сон и время. «Мы, старые люди, мало спим, а то и вовсе не спим. Разве что вздремнем иногда. Да и задремлешь — все думаешь, думаешь. Что еще остается нам, как не думать». Он помолчал и добавил вслух:

— Теперь скоро. Теперь уже скоро.

А мысли все текли: «Ты давно покинула этот мир, Сусана. Был такой же ранний час, только еще

бледней алела полоска зари. И тусклый свет ее, так же как сегодня, едва пробивался сквозь белесую мглу. Да, был тот же самый час. И вот так же сидел я здесь у ворот и смотрел на светлеющий край неба; смотрел, как ты уходила от меня по светлой небесной дороге, туда, во внезапно распахнувшуюся лучезарную даль. Уходила невозвратно, и тени земли скрыли тебя от моего взора.

Тогда я видел тебя в последний раз. Ты прошла мимо, и на твоём пути зашелестели задетые твоим случайным прикосновением ветви деревьев, цветущих в обители блаженных. И вместе с твоим

дыханием развеялись по ветру лепестки их облетевших цветов — последнее воспоминание о рае. Ты исчезла, а я звал тебя: „Вернись, Сусана!“»

Педро Парамо шевелил губами, что-то шептал. Потом он сомкнул губы и приоткрыл глаза, и в зрачках его отразился отблеск забрезжившего дня. Рассветало.

В тот же рассветный час мать Гамалиэля Вильяльпандо, донья Инес, подметала улицу перед лавкой своего сына. Неожиданно в полуоткрытую дверь метнулся неизвестно откуда взявшийся Абундио Мартинес. Гамалиэль лежал

на прилавке и спал сном праведника, прикрыв лицо широкополым сомбреро — чтобы не беспокоили мухи. Абундио пришлось ждать пробуждения Гамалиэля довольно долго, до той самой минуты, когда донья Инес кончила подметать улицу, вошла в лавку и растолкала сына, двинув его под бок ручкой метлы.

— Вставай! — орала она. — Покупатель пришел.

Ворча и чертыхаясь, Гамалиэль уселся на прилавке, через силу разлепил глаза, красные от вечного недосыпания и обильных выпивок, — он никогда не отказывался, если его приглашали пропустить стаканчик за компанию.

Так он просидел несколько минут, кляня свою мамашу, самого себя и эту стерву, собачью жизнь; затем улегся на бок, свернулся калачиком и снова уснул.

— Пьяницы чертовы! — продолжал он браниться сквозь сон. — Только и думают, как бы надраться с утра пораньше, а я за них отдувайся.

— Сыночек ты мой хороший! Уж ты его прости, Абундио. Замучили его вчерашние проезжающие, сидели тут допоздна, накачивались. А что это ты и впрямь в этакую рань? — Она снова перешла на крик: Абундио был туг на ухо.

— Да так, ничего особенного.

Четвертинку бы мне — вот и вся
нужда.

— Никак, твоей Рефухио опять
худо стало?

— Померла моя Рефухио,
мамаша Вилья. Вчера померла, часов
в одиннадцать ночи. А ведь сказать,
чего только я не делал. Осликов
продал. Продал, не посмотрел,
только бы снова она здоровая у меня
была.

— Как, говоришь? Что-то не
разобрала я. Или ты ничего не
сказал? А?

— Я говорю, что всю ночь возле
покойницы просидел, возле Рефухио.
Преставилась она вчера к ночи.

— Чужало мое сердце —

покойником пахнет. Ты подумай только, — подивилась донья Инес. — Я даже Гамалиэлю сказала: «Не иначе, — говорю, — умер у нас кто-то в Комале, так и тянет покойником». А он и слушать не стал. Да и где ему было, умаялся он вокруг этих проезжающих, обхаживал их, обхаживал, ну и хватил лишку. Он, когда выпьет, сам знаешь, палец ему покажи — смеяться будет и не слушает ничего, хоть тут дом гори. Вот беда-то. А позвал ты кого, чтобы над телом молитвы читали, как положено?

— Никого не позвал, мамаша Вилья. Потому и прошу четвертинку — горе размыкать.

— Неразбавленной дать, что ли?

— Неразбавленной, мамаша Вилья. Память быстрее отшибет. Давайте скорее, времени у меня мало.

— Ладно. Вот тебе стакан чистого спирта. Плати, как за разбавленный, ради тебя исключение делаю. А покойнице — передай ей от меня, что я всегда к ней всей душой была, пусть не забывает обо мне на том свете.

— Передам, мамаша Вилья.

— Только ты ей про это сейчас же скажи, сразу, пока дух от тела не отошел.

— Да уж скажу. Она ведь тоже — это я точно знаю — на вас

большую надежду имеет, что вы об душе ее молиться будете. Как она, мученица моя, перед смертью тосковала, что некому ей грехи отпустить.

— А что ж ты не сбегал к падре Рентериа?

— Бегал, да мне говорят: нету, ушел в горы.

— Это в какие же такие горы?

— Бог его знает, в здешние, надо быть. Против власти пошел воевать, да не один, с отрядом.

— Вот так так. И он туда же? Несчастные мы, Абундио, горемычные!

— А я, мамаша Вилья, так располагаю, что нам от этого ни

холодно, ни жарко. Нам это все едино, мамаша Вилья. Налейте-ка мне еще стаканчик, все равно тайком меня угощаете, раз Гамалиэль спит.

— Смотри только, не забудь, попроси Рефухию, пусть Господу за меня словечко замолвит, за грехи мои тяжкие.

— Будьте надежны, как приду, так сразу и скажу. А хотите, слово с нее возьму, чтобы не сомневаться вам зря да не изводиться.

— Вот, вот, я уже и сама хотела тебя просить. Ты ведь знаешь, женская наша память... С женщины сразу требовать надо, на месте, после и не добьешься.

— Дайте-ка мне еще

четвертиночку. — Абундио Мартинес опять положил на прилавок монету в двадцать сентаво. — Ну, а даром угостите — что же, не откажусь. Раз хозяйка подносит, премного благодарим. Но уж эту, обещаю, домой понесу, возле покойницы выпью, голубочки моей.

— И верно, уходи, Абундио, сын, того и гляди, проснется, а с похмелья он злой бывает. Беги домой, Абундио, да смотри не забудь, передай жене мое поручение.

Он вышел из лавки откашливаясь. Ну и спирт! Чистый огонь! Но ему сказали, так скорей опьянеешь, и он все прикладывался к горлышку, а после обмахивал

разинутый рот подолом рубахи. Опорожнив бутылку, Абундио двинулся было к своему дому, где его ждала покойница Рефухио, но вдруг свернул в сторону и пошел вверх по улице; миновав крайние дома, он пустился по дороге, уводящей прочь от селения.

— Дамиана! — позвал Педро Парамо. — Поди-ка спроси у человека — вон идет по дороге, — что ему нужно.

Абундио упрямо двигался вперед, спотыкаясь, мотая головой, ползя на четвереньках. Земля под ним вертелась каруселью, выбрыкивала, как норовистый конь, кидалась то туда, то сюда, и он

бросался за ней вдогонку, но стоило ему только ухватиться за нее покрепче, как она выворачивалась и ныряла вовсе неизвестно куда. Неожиданно он очутился у чьих-то высоких ворот, нос к носу перед сидевшим в плетеном кресле очень из себя видным сеньором. Абундио остановился.

— Пожертвуйте, Христа ради, сколько милости вашей будет, жену похоронить не на что, — проговорил он.

«От козней дьявольских избави нас, Господи!» — молилась Дамиана Сиснерос, открещиваясь от Абундио протянутыми вперед руками.

Отчего у нее такие испуганные

глаза? И зачем она его крестит? У Абундио мороз подрал по спине. Уж не сам ли сатана шел за ним следом, путая дорогу? Абундио обернулся, думая увидеть у себя за плечами какую-нибудь анафемскую харю. Но сзади никого не было. И он повторил:

— Не откажите, будьте милостивы, пожертвуйте хоть сколько-нибудь! Не на что жену похоронить.

За его спиной вставало солнце. Солнце... Еще холодное, искаженное мглистыми испарениями земли.

Педро Парамо втянул голову в плечи, словно хотел заслониться краем плаща от яркого света. А над

полями неся истошный,
многократно повторенный вопль
Дамианы:

— Убивают! Дона Педро
убивают!

Крик женщины сбил Абундио Мартинеса с толку. Он не знал, как заставить ее замолчать. Мысли путались и разбегались, он не мог уловить, в чем дело. Ему только подумалось, что старухин голосище слышен, поди, в самой Комале. Верно, и покойница Рефухио услышала. У него вон, глухого, и то в ушах звон стоит. И чего это она разоралась? Но едва вспомнил он про жену, ему представилось, как она лежит, вытянувшись на кровати,

одна-одинешенька посреди патио — он нарочно вытащил кровать в патио, чтобы тело остыло на воздухе, так дольше духу не будет. Лежит, голубочка, не шелохнется, а еще вчера была живая, горячая, в кровати с ним, словно кобылка молодая, играла, носом об нос терлась и губы прикусывала. Голубочка, она ведь сына ему родила, только умер сынок, и дня не пожил. Не по силам, доктор сказал, было ей ребенка выносить. И то, чем только она не болела, голубочка: и простудой и лихорадкой, а сколько от сглазу мучилась. Напоследок, когда уж он доктора привез, так доктор еще кучу болезней у ней нашел и цену заломил

такую, что осликов пришлось продавать, — задаром разве бы он к ней поехал. Деньги взял, а помочь не помог. И лежит она, лежит, голубочка, стынет на утренней прохладе, глазки навек закрыла, и не видеть ей больше ни зари, ни солнышка, ни раннего, ни полуденного — никакого.

— Окажите вашу милость, — повторил снова Абундио, — пожертвуйте на бедность.

Но он не слышал того, что говорил: крики женщины заглушали его слова.

На дороге из Комалы показались черные точки. Точки скоро превратились в людей, а через

несколько минут люди эти стояли уже рядом с ним. Дамиана Сиснерос перестала кричать, разняла сложенные крестом руки — и повалилась наземь, хватая ртом воздух, будто зевала.

Люди, пришедшие со стороны селения, подняли ее и втащили в дом.

— Вам ничего худого не сделали, хозяин? — спросили они.

Лицо Педро Парамо выглянуло из складок плаща, он качнул головой.

Люди отняли у Абундио залитый кровью тесак.

— Пойдешь с нами, — услышал он чей-то голос. — Ну и влип же ты в передрягу.

Он покорно поплелся вместе с

ними.

Не доходя до первых домов Комалы, Абундио попросился отойти за нуждой, шагнул в сторону, и его начало рвать. Рвало желчью, неостановимо, хлестало и хлестало, будто он выпил бочку воды. Голова у него горела, как в огне.

— Перепился, — бормотал он, еле ворочая языком.

Абундио с трудом вернулся к своим конвоирам и повис у них на плечах. Им пришлось тащить его волоком, и носки сапог оставляли на пыльной дороге две неровные борозды.

А Педро Парамо сидел в своем

плетеном кресле и смотрел вслед кучке людей, уходивших от него по дороге на Комалу. Он хотел было поднять левую руку, но она почему-то не послушалась и, точно неживая, упала ему на колени. Это не встревожило его. Он уже привык: каждый день отмирала какая-то часть его существа. Сады блаженных сбрасывали цвет. «Все уходят по той же дороге. Все». И он возвратился к прерванным мыслям.

— Сусана, — промолвил он и закрыл глаза. — Я умолял тебя, чтобы ты вернулась...

...Огромная луна сияла над нами — она была центром вселенной. А мои глаза ничего не

видели, кроме тебя. Лунный свет струился по твоему лицу. И я не отрываясь смотрел на тебя, на явленное мне чудо. На матовый блеск твоей кожи, отполированной лунным сиянием; на полные губы, влажно облитые радужным мерцанием звезд; на тело твое, белеющее в черной ночной воде. Сусана, Сусана Сан-Хуан.

Педро Парамо снова попытался поднять руку, чтобы разогнать дымку, туманившую дорогой образ, но рука, словно камень, упала ему на ноги. Тогда он попробовал поднять другую руку, и рука медленно стала отваливаться от его тела и уткнулась сбоку от него в землю, точно

костыль, подперев обрубленное плечо.

«Вот она, моя смерть», — подумал он.

Солнце заливало поля утренним светом, возвращая всему сущему форму и цвет. Он смотрел на свои заброшенные пашни. Одичалая, мертвая пустошь простиралась перед ним. От солнца ему стало теплей. Взгляд его чуть приметно перемещался: вслед пробегающим воспоминаниям, заслонившим собой настоящее. Сердце у него замирало и останавливалось, и вместе с сердцем, казалось ему, останавливается время. Замирает дыхание жизни.

«Только бы это не было началом ночи, новой, вечной ночи», — думал Педро Парамо.

Ночей он боялся: они населяли темноту призраками. А оставаться со своими призраками с глазу на глаз ему было страшно. Он боялся ночей.

«Пройдет немного часов, а когда стемнеет, — я знаю, — опять явится Абундио и, протягивая окровавленные руки, станет выпрашивать деньги, в которых я ему отказал. Но у меня самого теперь нет рук, и я не смогу прижать их к глазам, чтобы не видеть его. Мне придется выслушивать его просьбы до самого рассвета, и лишь с наступлением дня он затихнет и

уйдет».

Кто-то осторожно коснулся его плеч. Он напряг безрукое тело и приподнялся.

— Это я, дон Педро, — услышал он голос Дамианы. — Принести вам поесть?

— Я ухожу, — ответил Педро Парамо. — Ухожу... Туда...

Дамиана Сиснерос обхватила его обеими руками, он встал, шагнул вперед, пошатнулся — и упал. Все внутри его закричало, моля о помощи, но вслух он не произнес ни слова. Тело его, разваливаясь на куски, с глухим стуком рухнуло наземь и осталось лежать — грудой мертвого праха.

notes

Примечания

Ниньо (букв.: мальчик, ребенок) — обращение крестьян и слуг к молодому хозяину.

Отате — разновидность
бамбука.

Имеется в виду восстание «кристерос» (1926–1929) — вооруженное выступление мексиканских католиков, причиной которого послужило ограничение государством прав Римско-католической церкви в Мексике.

Оките — пирамидальная сосна.

Атоле — маисовый напиток.

Пульке — алкогольный напиток, приготовляемый из сока агавы.

Вильисты — сторонники Франсиско Вильи (наст. имя Доротео Аранго; 1877–1923), руководителя крестьянского движения на севере страны во время Мексиканской войны.

Байлон Паскуале (1540–1592) — монах-францисканец, канонизирован в 1690 г.; объявлен покровителем евхаристических конгрессов и братств; также считается покровителем пастухов.

Каррансисты — сторонники Венустиано Каррансы (1895–1920), буржуазно-либерального государственного деятеля Мексики, президента страны в 1917–1920 гг.

Обрегон Альваро (1880–1928) — мексиканский политический и военный деятель; во время Мексиканской революции сражался в рядах армии Каррансы; президент страны в 1920–1924 гг.